



ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЫРГЫЗСТАН

3/2011

Художественный и общественно-политический
журнал писателей Кыргызстана

Издается с января 1955 г.

Главный редактор А.И. ИВАНОВ

Редакционная коллегия:

В. А. АКЧУРИН

Б. Т. КОЙЧУЕВ

Е. Г. КОЛЕСНИКОВ

Т. Т. МУРАТАЛИЕВ

С. Г. СУСЛОВА

(зам. главного редактора)

На первой стр. обложки: фрагмент картины
Чуйкова «Осень в горах»

Адрес редакции:

720301, ГСП. Бишкек, ул. Пушкина, 70

Телефоны: 62-16-05, 62-16-01

E-mail: literary_kyrgyzstan@rambler.ru

Журнал издается при спонсорской поддержке
издательства «Турар»



**Знаменитому хирургу и общественному
деятелю ЭРНСТУ АКРАМОВУ
В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНИЛОСЬ СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ ЛЕТ.**

На его счету десятки тысяч спасенных жизней. Он избирался депутатом и всесоюзного, и республиканского парламента. Своей открытостью, откровенностью, широтой взглядов и умением четко формулировать позицию как по медицинскому, так и политическому, культурному спектру вопросов Эрнст Хашимович снискал симпатию и уважение журналистской братии. Да и сам он не раз выступал с публицистическими статьями. В конце восьмидесятых Акрамов был признан автором года за опубликованную в «Литературном Киргизстане» статью «Если я заболею...». Ему не чуждо и увлечение поэтическим творчеством. Некоторые из его двустихий, проникнутые юмором, с философским подтекстом, передаются из уст в уста. Надеемся, что когда-нибудь он выступит в нашем журнале и в качестве автора этого жанра.

Акрамов не любит ни пышных застолий, ни торжественных речей в честь своего дня рождения. И публикуемая в этом номере беседа с ним главного редактора «ЛК» Александра Иванова носит не юбилейный, а деловой характер. Мы от всего сердца поздравляем Эрнста Хашимовича и желаем ему крепкого здоровья и успехов в его благороднейшей деятельности.

Редколлегия «ЛК»

СОДЕРЖАНИЕ «ЛК» № 3/2011

ПРОЗА

Дмитрий Ащеулов. Оборотень. <i>Рассказ</i>	5
Александр Крячун. Главная работа. <i>Повесть</i>	36
Талип Ибраимов. Последняя стрела. <i>Роман в новеллах</i>	77
Виктор Кадыров. Машина времени. <i>Рассказ</i>	96

ПОЭЗИЯ

Александр Зайцев. <i>Стихи</i>	103
Евгений Колесников. <i>Стихи</i>	113
Алтынай Джуманазарова. <i>Стихи</i>	119
Игорь Лукшт. <i>Стихи</i>	126

ПУБЛИЦИСТИКА

Александр Иванов. Не умирай раньше смерти. Беседа с профессором Э. Акрамовым	139
Леонил Дядюченко. Баллада об учителе	152

КУЛЬТУРА

Мамасалы Апышев. Ч. Айтматов и М. Байджиев: горизонты двуязычного творчества	158
Бахтияр Койчуев. Увидел мир глазами своих героев	169
Коротко об авторах	175

ПРОЗА



Дмитрий АЩЕУЛОВ

ОБОРОТЕНЬ

Рассказ

Меня разбудил крик Егорыча.

– Толя, выглянь в окно. Вот забава-то!

Я встал со своей колченогой кровати, поддерживаемой с одной стороны кирпичами. В темноте нащупал под подушкой спички, зажег свечу.

– Толя, пропустишь же, – возбужденно крикнул через стену Егорыч. На улице кто-то вопил и вообще было довольно шумно, что было нередкостью для нашего двора. «Опять какая-нибудь пьяная драка», – с неудовольствием подумалось мне. Я добрался до окна, снял мешковину, которой завешивал раму. Часть оконного стекла была разбита и оттуда тянуло холодом.

– Давай, давай прижучивай ее, – доносился гогот со всех сторон.

Внизу, во дворе нашего четырехэтажного дома, у кучи, куда все сбрасывали золу, металась какие-то силуэты. Дождь прошел, из-за наплывов туч тускло просвечивала луна. В неясных сумерках мне показалось, что кто-то дерется и катается по земле. Но драки так особо не возбуждали здешних жильцов. Этим никого тут не удивишь. А сейчас почти весь дом – все кто были трезвы или держались на ногах, прильнув к окнам, глазели и напряженно следили за телами, извивавшимися в ночи.

– Сейчас он ее завалит, – слышался комментарий сверху.

– Отобьется. Он вон вишь, косою. А если бы не под этим делом, сразу бы ее оседлал, – сомневался кто-то снизу.

– Морду ей придави, морду, она и рыпаться перестанет, – советовал еще один испитый голос.

Только теперь до меня дошло, что происходило на самом деле. Распростертая на земле женщина отчаянно отбивалась от пытавшегося изнасиловать ее мужика.

Я вернулся в комнату и сел на табурет. Было мерзко. Но выкрики, комментировавшие происходившее, достигали моих ушей и здесь. Как я их всех ненавидел! Сердце колотилось. Для жильцов дома это было развлечением от тоски, унылости нищего быта, а еще тупой радостью униженных существ от того, что кому-то еще хуже и больнее, чем им самим. Почему же человек не испытывает сочувствия к себе подобному, а желает другому еще большей боли и порой видит в этом смысл своего самоутверждения? – этого я никак не мог понять, постигнуть.

Среди книг, заполнявших мою квартирку, я нашел старый том по кулинарии. В общем-то, при моей нищей жизни он был совершенно мне не нужен. Я прикинул на руке его вес. Фолиант был достаточно тяжел. Оставалось только перевязать бечевкой, чтобы книга не раскрылась в полете.

Я осторожно вышел на лестничную клетку, добрался до разбитого окна, смотрящего во двор. Схватка внизу все еще продолжалась. Мужик, оседлав девушку, душил свою жертву. Было достаточно темно, и я надеялся, что меня не смогут заметить соседи. Я замахнулся, ужасно мешал горб, и метнул в темноту собрание кулинарных рецептов. Пролетев, пособие для гурманов хорошенько долбануло по голове насильника. Он опрокинулся, потом попробовал встать, его зашатало, и он снова рухнул на землю. Видимо, опьянение тоже дало о себе знать и вкуче с ударом вырубил мерзавца. Стараясь не топтать по ступеням, я, боясь быть замеченным, метнулся в свою квартирку.

– Какая сука это сделала? – вопил Нинон – гермафродит, живущий сверху надо мной. Кто-то еще матернулся.

– Кто это, б...и, сделал? – Нинон ревел как иерихонская труба. – Суки, ноги повыдергиваю, землю жрать заставлю, если узнаю, кто это сделал.

Он еще поорал потом замолк, опрокинул что-то тяжелое у себя в квартире, через какое то время хлопнул дверь и он ушел к своему дружку на другой этаж. Дом потихоньку затихал.

Когда, наконец, все замерло, я натянул на плечи и горб свое безразмерное черное пальто и потихоньку вышел во двор. В подъезде я остановился, прислушиваясь к звукам в квартирах. Было часов одиннадцать ночи, и большинство жильцов вновь улеглось спать. Пожалуй, сейчас меня вряд ли кто мог бы заметить.

Я добрался до мусорной кучи. Рядом в примятой мокрой траве рыдала женщина. В стороне, растянувшись во весь рост, храпел. Я прикоснулся к плечу незнакомки. Она вздрогнула, обернулась, придавлено вскрикнула.

– Молчите! – зашептал я. – Молчите, иначе они нас увидят. Не надо пугаться меня. Я не сделаю вам ничего плохого. Пойдете наверх в дом. Нельзя тут оставаться одной.

Я подал ей руку, помог подняться и торопливо потянул к подъезду. По дороге среди травы я нашел том по кулинарии и быстро засунул его под пальто. Утром книгу могут найти и тогда все догадаются, что ночное развлечение всем испортил я.

Когда мы оказались в квартире, я зажег свечу.

– Не бойтесь, я вам не сделаю ничего плохого. Вам нельзя было оставаться на улице одной, – объяснился я. – Переждете тут до утра, а потом уйдете домой.

– А я тебя знаю, – ее заплаканное лицо тронула доверчивая улыбка. – Ты горбун. Собираешь книги.

При освещении и я смог разглядеть девушку лучше. Я ее тоже знал. Она жила в районе жилой застройки недалеко от дома, в котором жил я. Ей было лет восемнадцать–двадцать. Не раз я наблюдал ее из окон своей квартиры. Она мне нравилась, но лично знаком я с ней не был. Сейчас ее лицо было испачкано грязью. Я дотронулся до ее щеки, стирая золу и землю, она отдернула голову.

– Не надо прикасаться ко мне, а то твое уродство перейдет на меня, – девушка поспешно провела ладонью по лицу, словно стараясь избавиться от следа моих пальцев.

– Слушай, а у тебя есть зеркало? – вдруг встрепенулась гостья. Я подал ей то, что она просила. Девушка села за стол перед свечой и внимательно осмотрела свое отражение.

– Козел, – беззлобно обругала она своего неудавшегося насильника, поворачивая голову перед зеркалом. – Хорошо, что лицо не разбил, а то бы ходила с фингалом.

– Кто он? – спросил я.

– Да так, прицепился, придурок.

Потом она оглядела комнату в прыгающем свете свечи.

– Много у тебя книжек, – заметила она. Взяла одну, быстро пролистала страницы. Отложила в стопку. – Я с картинками книги люблю. Зачем тебе столько?

– Они со мной разговаривают.

– Кто?! Книжки? – усмехнулась гостья.

– Да. Я общаюсь с их авторами, читаю их мысли, порой спорю с ними, – знаю, что с девушками в час ночи не ведут подобных бесед. Но от одиночества и от того, что хотелось отвлечься от грустных мыслей, я вдруг ударился в размышления. – С каким бы пренебрежением мы не относились к книгам, они переживут нас. Мы умрем, а они останутся. Пускай мир рушится, пускай их сжигают, выбрасывают, вытесняет интернет. Но кто-нибудь такой же, как и я, обязательно будет собирать их, пускай даже втайне от всех. Сохранит и передаст тем другим, которые придут на эту Землю после нас. И авторы, и их мысли будут жить и дальше, пережив это ужасное время.

– Глупо тратить свою жизнь на то, чтобы узнавать о чужих мечтах, – сказала моя гостья. – Когда можно массу своих придумывать.

– О чем же мечтаешь ты?

– Гнать на дорогом авто, обязательно с открытым верхом, так, чтобы ветер развеивал волосы. А еще хочу иметь норковую шубку, отдыхать где-нибудь на Гоа, – сразу ответила она. – И главное сбежать подальше из этого поселка. Вот видишь, чтобы придумать себе счастье, я обошлась без книжек.

– Да, – я засмеялся. – Книги интересны только для разочарованных, усталых или мечтательных людей.

– Ты можешь остаться здесь до утра, я тебе не сделаю ничего плохого, – снова сказал я. – Не следует ходить ночью. За последние недели в поселке нашли пять изуродованных трупов. Ты разве не знаешь об этом?

– Знаю. Только я из города поздно возвращалась, – ответила она. – Я там учусь, в техникуме. Думала успеть дотемна. А тут у остановки Таньку, подружку, встретила, проболтали. Уже темнеть начало, когда я побежала домой, а потом этот придурок прицепился.

Она выругалась матерным словом. Контраст, который создавало ее красивое лицо и эта убогая грубость, резанул мое сознание.

– А, может, этот тип, что ко мне пристал, и есть маньяк? – предположила она. – Хотя вряд ли. Так, обычный алкаш. Импотент хренов.

Она помолчала и снова добавила.

– А ты молодец, что швырнул в него тяжелым. Я сейчас поняла, что это твоих рук дело. А зачем я тебе нужна? Не ты ли это чудовище, что загрызает людей по ночам?

Было непонятно: шутит гостья или говорит всерьез. Я пожал плечами на этот глупый вопрос.

– Хотя вряд ли, – заметила девушка, оглядывая меня. – Ты хилый, а тот людям хребты только так ломает. Говорят – это старик Коржедуб встает из могилы и мстит людям за то, что они предали его.

Я усмехнулся. Это были явно не ее мысли.

– Кто это тебе сказал? – спросил я.

– Мать моя говорит, тетки возле колонки. А еще мужики видели ночью, когда выкапывали металл из могильника, как на болоте, по тому берегу, бродила скрюченная фигура мертвеца. Об этом здесь все знают.

Таких историй по поселку, напуганному изуверскими убийствами, ходило теперь немало.

В дверь постучали. Я вздрогнул: «Неужели кто-то увидел, что я привел девушку?» Я поспешил в прихожую.

– Кто там? – спросил я, прикикая к хлипкой двери.

– Анатолий, открой. Это я, – зашептал с той стороны Егорыч.

Я впустил соседа внутрь.

– У тебя гостья? – его глаза возбужденно сверкнули в полумраке тесной прихожей.

– Ты видел?

– Ты забываешь о моем профессионализме. Я знаю все, – пафосно пошутил он. Егорыч был в прошлом редактором местной малотиражной поселковой газеты. Сейчас этот лысоватый пожилой человек в замусоленной безрукавке, джинсах с оттянутыми коленями и очках в черной тяжелой оправе выглядел смешно,

и потому при его словах о былом профессионализме мне захотелось внутренне улыбнуться.

– Какая очаровательная орхидея таится в твоей скромной келье, Анатолий, – захихикал мой гость, увидев девушку. – Как же вас зовут, богиня?

Как и всякий газетчик Егорыч перебарщивал с комплиментами. Но девочка этого явно не заметила.

– Марина, – кокетливо улыбнулась она.

– Марина! С латинского это имя переводится – «морская». Как считали древние, поверьте и я с ними вполне согласен, Марина притягивает мужчин и имеет на них особое магнетическое влияние. Откуда вы, Марина?

– Я живу тут недалеко. Учусь в городе, в техникуме, – сказала Марина. – Буду технологом по производству женской одежды.

– Это замечательно. Показы, модели, сезоны высокой моды, где можно встретить красавца миллионера, – Егорыч подбирал слова из своего бывшего литературно-журналистского лексикона. Слова необычные, чуждые для нашего забытого богом и людьми поселка. И я вдруг догадался, что старый фавн пытается закадрить девочку!

– Вот не надо миллионера. У меня есть парень, я его люблю, и он меня любит. Его зовут Борис. Его отец работает в мэрии, у них на семью три машины и загородный коттедж. Только его родители против нашей любви, – грустно вздохнув, поведала Марина.

– А зачем вам Боря. Когда вокруг вас может быть столько поклонников.

– Поклонники, – сварливо передразнила Марина. – Один уже чуть не вставил мне. Спасибо, вот ваш сосед спас меня.

– Анатолий – он добряк. Если бы не его горб, он бы, пожалуй, подался в странствующие рыцари. А так целыми днями корпит над своими книгами. У него одно время от них и горб-то стал расти. Скрючится над ними и сидит. А сейчас вроде бы нарост перестал расти. Но я думаю это не заразно, – засмеялся Егорыч. Я ему явно мешал, и он говорил про меня девушке всякие гадости.

– Все это от мусорки. Чего тут гадать, – авторитетно заяви-

ла юная гостя. – Как только открыли свалочный полигон, так болезни у людей всякие начались, от иных вон и водка даже не помогает.

– А может быть, отправимся ко мне? – предложил ей Егорыч. – У Анатолия тесно и свеча чадит, а у меня лампа керосиновая и прекрасный каталог средневековых живописцев. Там знаете, какие костюмы есть. Вам для учебы полезно будет....

В дверь забарабанили и сердце мое сжалось.

– Открывай, жаба, – грозно ревел Нинон. – Где ты там?

Я весь съезжился.

– Спрячьтесь на кухне, – быстро сказал я Марине. – Егорыч, проводи ее.

Я поспешил открыть. Нинон ввалился в прихожую и нагло протопал в комнату. Как я ненавидел это жуткое, грубое создание! Он был гермафродит. По людским меркам такой же урод, как и я, но в нем было столько ненависти, злобы, что делало его еще более отталкивающим, чем он выглядел. С широким женоподобным лицом, покрытым непонятного цвета щетиной, большим объемным телом, грудастый, с крупными ляжками, Нинон был вечно неопрятен, и мне всегда казалось, что от него шел странный неприятный запах.

В нашем поселке Нинон появился несколько лет назад – человек с неизвестной судьбой, но явно с темным прошлым. К нему порой наведывались дружки из города. Мрачные типы, отпетые уголовники. Временами они подолгу жили в его квартире, прячась в здешней глуши не то от милиции, не то от своих конкурентов по кровавым делам. Они пьянствовали, скупая самогон по всей округе, порой шутки ради устраивали пальбу из пистолетов или, подпоив мужичка, пускали по полю и палили ему под ноги, глумясь и гогоча, когда объект их веселья подпрыгивал, падал от страха. Еще больший восторг вызывало у них то обстоятельство, когда несчастный обделывался от ужаса. Сомнительные знакомства Нинона внушали всем здешним людям страх и, как ни странно, почтение. И он это хорошо чувствовал: то, что его боялись, перед ним рабелепствовали. Он любил унижать, куражиться. Это доставляло ему сладострастие, реабилитировало его уродство.

Наша неприязнь была взаимной.

– Книжка мне нужна, для самокрутки. Сигареты кончились, – он по-хозяйски осмотрелся в комнате. – Бумага чтобы тонкая была. Чего стоишь? Ищи, давай!

Его приход был неудивителен. Соседи порой заглядывали ко мне за книгами для того, чтобы почитать (а это бывало крайне редко), или, (чаще всего) за бумагой, чтобы растапливать печи. Газеты обходились дорого, а у меня были лишние печатные экзemplяры. Не желая портить отношения с соседями, среди которых меня и так считали чужаком, я отдавал лишние книги для сожжения.

Но визиты Нинон очень отличались от всех иных. Вот и на этот раз он как обычно нагло схватил то, что ему попало под руку. Это был томик стихов Бунина. Он оторвал страницу, потеряв бумагу в пальцах.

– Толстая, – скомкав, швырнул мне под ноги. Схватил еще что-то, я уже не рассмотрел – пелена бешенства и ярости залила мне мозг – разорвал и снова бросил на пол. Он издевался, провоцировал меня на столкновение. Его брюхатое тело, массивное, заплывшее салом, нависало надо мной. Маленькие глазки выжидательно смотрели в мою сторону, когда он сталкивал стопки книг, наступал грязными подошвами кирзовых сапогами на белые листы.

Я не сводил с него глаз, полных ненависти, но так ничего и не мог сказать. Я был парализован своей яростью и своим бессилием. Герой литературных произведений, наверное, кинулся и сцепился бы с этой горой мяса и жира, был бы повержен, но снова и снова поднимался в бой, отстаивая себя. Как часто мы мечтаем быть сильными и смелыми! Но в жизни все по-другому. Приходится лебезить перед негодьями, надевать маску лицемерия, скукоживаясь внутри себя. Нет ничего отвратительнее, чем ломать себя. Мог ли я противостоять ему? Исход этой схватки был ясен. Поэтому я повернулся на негнущихся ногах и с дрожью в пальцах рук, проклиная свою слабость и малодушие, стал искать то, что было ему необходимо. Я нашел книгу Эдгара По, – издание, отпечатанное на тонкой папирусной бумаге. Таких у меня было несколько штук.

– Возьми вот эту, – спокойным голосом сказал я.

Нинон недоверчиво взял книгу, подозрительно осмотрел, сунул в карман ватника. Потом неожиданно схватил меня за горло:

– Хочешь, сверну тебе шею? – зашипел он в мое лицо. – Жаба, ты. Запах от тебя дурной идет. Жабий запах – я это сквозь стены чую.

Его маленькие глазки впились в меня, бабье широкое лицо с пористой кожей, поросшей зеленовато-бурой щетиной, приблизилось ко мне. Пальцы больно сдавили горло, но я упорно и неотступно смотрел ему в зрачки, желая показать, что не отступлю и не опущу взгляда.

В этот момент из кухни вышел Егорыч.

– Ну что ты, Нинон! Анатолий неплохой парень, – залебезил он перед соседом. – Ну чего ты разошелся? У меня в квартире есть пол-литра, хочешь разопьем?

– Пол-литра самогона? – при слове самогон крупные влажные, как два жирных моллюска, губы сложились и причмокнули. – Тащи к Николаше в семнадцатую, там поговорим за жизнь.

Нинон оттолкнул меня от себя и, громыхая сапогами, ушел из квартиры. Вслед за ним, кивнув мне заговорщицки, вышел Егорыч.

Я закрыл за ними дверь и привалился спиной к косяку. «Как отвратительно быть ничтожным существом. Если этот Нинон так мерзок, то как же жалок я сам, вынужденный бояться его!?»

– Я его тоже терпеть не могу, – услышал я у себя за спиной. Обернулся. Марина стояла в проеме комнаты.

– Жуткий тип, – сказала она снова и с почти детской уверенностью заметила: – Я думаю, что старик Коржедуб когда-нибудь сожрет его.

– Давай-ка лучше спать, – устало предложил я. – Ты как гостя ложись на кровати, а я постелю себе у окна.

Уснула она быстро. Луна разливала по комнате теплый свет, и я мог наблюдать за спящей девушкой. Ее лицо казалось мне прекрасным. Каким упоением было наблюдать за ним, а каким упоением была возможность прикоснуться губами к ее волосам, принести рано утром букет цветов, пахнущий росой и свежестью и увидеть, как улыбка освещает светом ее лицо. В общем, достаточно все тривиально.

Я был одинок. Горб у меня появился неожиданно, странно. Он как бы рос на мне. Он ныл, распухал, сгибал позвоночник. На врачей не было денег, да и где их, грамотных специалистов,

найдешь? Из-за моего уродства люди меня сторонились, а я чуждался их. Поэтому создать семью так и не удалось.

Пока Марина спала, я сидел на табурете у окна, мешковина с окна была сдернута, и мне открывался вид на залитый желтым светом поселок. Печальная картина. Обглоданный скелет остова машины, тонкие сухие прутья кустарников и ветви чахлах деревьев. Такое ощущение, что мертвецы восстали из земли и трясут на ветру своими иссохшими мощами. Я закрываю глаза и словно вижу с высоты эту землю...

Поселок «Коммунар» – старый проржавленный щит с этой выцветшей надписью жалобно постанывал под напором ветра. На щит села ворона. Отсюда были видены разбитые хребты теплиц, полуразрушенные коровники, щербатый забор бывшей автобазы, ввысь уходила труба мертвой котельной. И домишки, домишки, в большинстве своем покинутые жильцами. В середине поселка был расположен парк Энтузиастов, вернее пни, оставшиеся от парка, да заросли бурьяна и кучи мусора. Среди этой унылости торчал бетонный бюст товарища Коржедуба, основавшего этот умирающий ныне населенный пункт. Выпуклые глаза изваяния смотрели через разруху и унылый морозящий дождь в светлое будущее.

После гражданской войны этот человек великой силы и воли собрал со всей округи обнищавших от разрухи и братоубийственной бойни крестьян и велел сжечь свои нищие деревеньки. Затем они начали строить поселок будущего. Эти безумцы были уверены, что смогут создать нечто подобное царствию Божьему на земле: где будут все равны, где будет царить любовь, где не будет нуждающихся и богатых. Коржедуб прожил долгую, сложную жизнь. Была в его судьбе и в судьбах тех, кто окружал бывшего матроса, и коллективизация, и электрификация, и борьба с бывшими кулаками и врагами народа. Потом была война, уход мужского населения на фронт, голод, непосильный труд на полях. Все это время Коржедуб возглавлял, в общем-то, небольшую общину. Он заряжал людей своей верой в светлое будущее и силой натуры. Расцвет нашего поселка пришелся на послевоенные годы. К шестидесятым годам здесь уже раскинулись большие сады, отстроились фермы, работали небольшой молокозавод, пекарня. Сюда ознакомиться с успешным опытом соци-

алистического коллективного хозяйствования приезжали зарубежные делегации. Люди были счастливыми, беззаботными, играли свадьбы, гуляли на праздниках, любили, рожали детишек. И никто не заметил, что это было раем на земле, о котором так мечтал матрос-балтиец Коржедуб...

Коржедуба я еще застал. Он был тогда уже очень стар. Прямой, суровый, требовательный. Придирчиво смотрел на каждого встречного, заходил на фермы и птичники, говорил с работниками и если замечал беспорядок, ругался с простыми колхозниками, с руководством поселка. Его почитали все местные люди, и мне кажется, он считал всех – старых и малых своими детьми, своими наследниками. Умер Коржедуб перед самой перестройкой, и в этом ему повезло, потому что уже не увидел, как дело его жизни подверглось разрушению.

Поселок стал умирать с началом перестройки. Директора «Коммунара» стали сменяться слишком быстро и часто. Они уходили, оставляя после своего хозяйствования большие бреши в бюджете, долги по выплатам зарплат. Из-за этого останавливались цеха, производства. Начались увольнения, чтобы расплатиться с людьми, пустились распродавать машины, станки. Но денег так никто в поселке и не увидел. Еще один состав правления поселком исчез, прихватив многотысячные суммы, которые собирала управа с населения, чтобы перечислять энергетикам. Электричество в поселке отключили, уже навсегда. К этому времени относится и открытие мусорного полигона прямо за поселком у озера. Инициатива исходила от администрации губернатора. Жителям пообещали богатые отчисления за экологическую вредность.

Но в области поднялась шумиха экологов: отходы были с ядовитых предприятий Сибири. Их подвоз прекратился, но полигон, с горами грунта и строительного мусора, так и остался. После этого люди в «Коммунаре» стали болеть странными заболеваниями, открывались язвы, гнойники. Правда, обнищавшее население раскапывало отвалы, находя металлические части и сдавая их в пункты приема вторчеремета. Помимо этого во время частой смены руководства исчезла документация на земли и уголья «Коммунара». Получилось так, что мы все живем здесь нелегально.

Кто мог, покидал эти места. А делать это было не так просто: дома и участки обесценились, и порой люди просто бросали жи-

лье и уезжали прочь. Вскоре здесь остались только те, кто не смог нигде устроиться, алкоголики, бомжи. Лишь небольшое количество здешних жителей ездило работать в город. Благо, рядом проходила трасса, и оттуда на рейсовом автобусе можно было добраться до цивилизации. А «Коммунар» превратился в поселение обреченных.

Все эти годы я собирал книги. Сначала это была брошенная школьная библиотека, потом я «приютил» у себя часть поселковой библиотеки. Кому она была нужна в том рушащемся мире? Люди спасали себя и, сбегая из умирающего поселка, кидали все лишнее. В груды оставленного переселенцами мусора летели старые фотографии ушедших из жизни родичей. Да что там усопшие, бросали своих старых родителей или немощных членов семьи. У меня же никого не было, и ехать мне было некуда. Я спасал книги. Книжные стопки росли в моей одинокой квартире. Они заполнили книжный шкаф, самодельные полки, пространство под столом и кроватью. Я перетаскивал литературу от тех, кто уезжал из поселка, бывлые книгочеи пристраивали у меня, как детей, книжные коллекции.

Как-то я нашел в подвале ныне уже разрушенной школы детские сочинения класса, в котором я когда-то учился, на тему «Моя мечта». Каким чудом они там сохранились?! Иногда перечитываю торопливые неразборчивые детские строки, вспоминаю, какими мы хотели быть, и знаю, какими стали.

Маша Гончарова мечтала быть балериной, умерла от алкогольного отравления. Аня Тольская – девочка похожая на Мальвину своими большими голубыми глазами – была посажена в тюрьму за то, что убила своего новорожденного ребенка. Костя Рукавичников – художник класса, скончался от передозировки наркотиков. И такие страшные судьбы оказались почти у всех ребят. Да, они вели не самый праведный образ жизни. Но ведь кто-то повинен в их сломанных жизнях? Ведь нельзя сказать, что они все были изначально порочны? И почему превратились в убийц, наркоманов, алкоголиков? Преступны ли они перед Богом, если страдали? Так думал я в ту ночь, когда должна была решиться судьба моя.....

Плавню раскачиваясь по бездорожью, ползли два джипа. Фары подслеповато обшаривали светом ушедший в грязь неког-

да гравиевый тракт. Первый внедорожник остановился у металлического щита, одиноко и сиротливо торчавшего среди пустой. Глухо хлопнула дверца, и из уютного нутра комфортабельной машины, в хмарь и в грязь, выпрыгнул водитель. Осветив ручным фонарем щит, он с трудом разобрал наименование поселка.

– Ну что? Туда хоть попали? – подошел пассажир из другого авто.

– Да, все правильно. Где-то там расположена эта крысиная нора, – говоривший махнул в темноту. – Еще неделю – и я снесу там все с лица земли.

– Но прежде я получу свой трофей, – с сильным иностранным акцентом сказал его спутник.

– Неужели вы все-таки думаете, что это правда? Вас могли надурить, – бросил мужчин.

– Моя профессия находить чудеса. Мир намного удивительнее, чем нам кажется, поверьте мне.

– Тогда в путь, я различаю огни в домах.

Горбуна разбудил сильный, уверенный стук в дверь. Когда он ее открыл, светя перед собой свечой, на пороге стояли высокие, добротнo одетые мужчины. Таких Анатолий уже давненько не видал в поселке. Один из них в полувоенной куртке цвета хаки кивнул головой и представился:

– Маркус Шнайдер, – у него был сильный иностранный акцент. Незнакомец решительно шагнул в прихожую. Сильный, быстрый, он создавал впечатление человека, который бьет в цель без промаха, и горбун почувствовал это особым развитым звериным чутьем.

– Вы сообщали мне о летающем упыре в вашем поселке, – говорил он, шагая вперед, а Анатолий отступал перед ним внутрь квартиры.

– Вы ошибаетесь, – удивился горбун, наконец, остановившись. – Я вас не знаю.

– Ну как же? Через Якова Шапиро по Интернету вы списались с моей фирмой в Лейпциге и сообщили о тех ужасных вещах, творящихся у вас в поселке.

– Ну-ка, ты, калека? – обратился его второй спутник. – Это

поселок «Коммунар», улица Энтузиастов дом 1 бис 2, квартира № 23?

Горбун вздрогнул от этих старых слов, это было как забытый вкус деликатесной пищи, он есть, он витает на рецепторах языка, но ты не можешь осязать его.

– Улицы Энтузиастов уже давно нет и поселка «Коммунар» тоже. Сейчас это все называется по-другому. Там за дорогой часть поселка носит название Бомжатник, потому что там зимой в брошенных домах обитают бомжи из города. Эти пару этажных домов зовутся Теплушкой, а чуть выше, где начинаются заросшие пруды Гнилы...

– Ты чего, сука, тут выпендриваешься...., – разъярился гость.

– Перестаньте, друг мой, – остановил его иностранец. – Скажите-ка, вы Павел Егорович Храпунин?

– Павел Егорович? Он сосед мой, – теперь Анатолию все становилось ясно. «Ах, Егорыч, Егорыч, кого же ты вызвал на мою голову?!» – с тоской в сердце подумалось горбуну.

В этот момент фигура Егорыча втиснулась в дверной проем.

– Господин Шнайдер, – бормотал бывший редактор, торопливо натягивая на себя свой выдавший виды свитер. Достоинством этого предмета гардероба было то, что его меньше всего съела моль, а так же и то, что был он свежо выстиран.

– Это я, я вас вызывал. Жду вас уже несколько дней, а тут придремал малость. Упустил момент и не услышал, как вы подъехали к нашему дому. Найти-то нас трудно. А это сосед мой, Анатолий. Тихий человек.

– Вы и есть Павел Егорович Храпунин – бывший редактор газеты «Красные зори»? – внимательно оглядывал Егорыча Шнайдер.

– Храпунин – это я. Вы Маркус Шнайдер, и я через своего старого коллегу Яшу Шапиро, ныне живущего в Германии, по Интернету сообщил, что у нас здесь есть оборотень.

– Синяки вы все шизонутые, – снова грубо вмешался в разговор спутник Маркуса.

– А вы, позвольте? – робко поинтересовался Егорыч грубияна.

– Эдуард Мясницкий! – гордо представился тот. – Новый хозяин вашего бывшего «Коммунара».

– Новый хозяин!!!! – в один голос воскликнули Анатолий, Егорыч и проснувшаяся от шума Марина.

– Да, я купил эту землю и у меня есть разрешение творить здесь все, что захочу.

– А что вы хотите?

– Я занимаюсь вторичными стройматериалами, и снесу здесь все по кирпичику, по балке, по досточке.

– Но ведь тут живут люди! – возмутился Егорыч.

– Какие люди?! Бомжы, проститутки, алкоголики. Юридически вас всех нет. Вы никто. Мои адвокаты все проверили: документация на землю поселка утеряна. Завтра сюда подойдут бульдозеры и начнут сносить часть поселка, где никто не живет, это займет пару недель. А за это время я вас всех попрошу отсюда выселиться. Тут тоже все сотрут с лица земли, – деловито и агрессивно закончил Мясницкий.

– Не забывайте о нашей договоренности, – твердо сказал Маркус. – Я могу несколько ночей вести свою охоту.

– Валяйте, господин охотник за приведениями. Я с удовольствием понаблюдаю из первых рядов на эту комедию. Вас разводят как лоха, – усмехнулся Мясницкий.

– Нет, – заволновался Егорыч. – Какой же это обман?! У нас уже шесть трупов! Вспороты животы, будто клыками все истерзаны. Упырь в поселке завелся. Многие видели, как по небу ночью человек какой-то летает.

– На метле? – усмехнулся Мясницкий.

– Что, простите? – не понял Егорыч.

– Баба на метле летает? – сыронизировал Мясницкий.

– Вроде бы мужчина и без метлы, но с крыльями. И еще за тот факт, что это мужчина, говорит следующее: тела, которые стали находить, изуродованы существом большой силы. И, возможно у него есть когти и клыки.

– А что же милиция? – спросил Мясницкий.

– Какая милиция?! Ведь мы, можно сказать, на нелегальном положении. Участкового у нас нет. Спасибо, что трупы увозили медики. Конечно, приезжали представители правоохранительных органов. Ну, а что они могут сделать? Прошлись по до-

мам, поговорили с людьми и все, – горячился Егорыч, обращаясь то к Шнейдеру, то к Мясницкому.

– Я навел справки. Разговаривал в городе с врачами-патологоанатомами, осматривавшими трупы, привезенные отсюда. Доктора считают, что это сделал зверь, милиционеры говорят о маньяке, – заметил Маркус. – Значит, вы связываете убийства с появлением летающего человека?

– С ним самым. Чудовище. Когда мы об этом стали рассказывать милиции, над нами сильно посмеялись и покрутили у виска. Но потом, при виде содеянного этим зверюгой, поверили.

– Кто-нибудь его видел? – спросил Маркус.

– Первым, наверное, Митька видал. Он по нужде ночью во двор вышел, а в небе этот оборотень парил. Митька, конечно, перепугался, думал что «белочка» к нему постучалась. Он у нас травкой баловался, бывший студент, бесполезный человек, – пояснил Егорыч.

– Где этот ваш Митька сейчас? – быстро спросил Маркус.

– Оборотень ему весь живот распорол. Митька про этот случай болтал много, да по ночам шататься любил. Вот и пересеклись их пути-дорожки. А вот Анатолий Митьку часто пытал насчет того, узнал ли студент, кто это над поселком по ночам парит, – Егорыч обернулся к горбуну. – Чего молчишь, Анатолий? Ведь Митька был твой дружок. Они с ним, господин Шнайдер, в ветеринарном техникуме в городе начинали учиться. А потом оба и бросили. Может, он чего тебе рассказывал, Анатолий?

– Я не помню уже, – нехотя ответил из угла горбун. Он словно пытался спрятаться в полумраке комнаты от непрошенных гостей своей квартиры.

– А это что за идол у вас там, среди пеньков торчит? – неожиданно спросил Мясницкий, разглядывая поселок из окна.

– Это бюст товарища Коржедуба, – выглянув в проем окна, услужливо ответил Егорыч.

– Корже... кого? – не понял Мясницкий.

– Коржедуба, – отрапортовал бывший редактор. – Красный комиссар, бывший матрос-балтиец основал наш поселок «Коммунар» в 1919 году.

– Вот еще фамилия... Коржедуб... Поляк, что ли? – спросил Мясницкий.

– Венгр или чех, – сказал Егорыч. – Он из Кронштадта. Это раньше не скрывалось, но и особо не афишировалось: его мать была кронштадтская проститутка. Сына нагуляла, позже сошла с ума от сифилиса, а парень был босяком, потом попал в матросы и подался в революцию. Мечтал построить царствие божье на земле, – пояснил Егорыч.

– Еще одна история о сыне блудницы, восставшем против Бога, – покачал головой Маркус.

– Ишь ты, – усмехнулся Мясницкий рассказу Егорыча, – Говоришь, прямо от зубов отскакивает. Что, коммуняка?

– Как работник прессы, я не мог не состоять в партии, но это было номинально, ради карьеры, – оправдываясь, заговорил Егорыч. – В нашем «Коммунаре» его биографию наизусть каждый ребенок знал. Герой, легендарная личность.

– Чего же в нем было такого легендарного? Небось, барышень насилывал, кокаин нюхал, да помещиков по округе грабил?

– Оборотень-то и есть Коржедуб, – встряла в разговор Маринка.

– Кто? – засмеялся Маркус и переспросил, видимо, не поняв смысла слова: – Оборотень?

– Нечистый, – нетерпеливо сказала Маринка. – У старика в сердце пуля застряла, с ней он и жил.

– Гонишь, алкашка малолетняя, – усмехнулся Мясницкий.

– Нет, она не врет, – сказал Егорыч. – Был такой факт. Коржедуб, когда коммунию стал возводить, он церковные земли забрал, с которых местный батюшка кормился. Вот отец Тихон и благословил пулю зажиточных крестьян, у кого матрос наделы отнял для колхоза. Они стреляли, в сердце свинец попал и там остановился. История можно сказать антинаучная, но имела место.

– Ну и враки, – покачал головой Мясницкий. Но было видно, что и он озадачен.

– После смерти Коржедуба его труп осматривал патологоанатом из города Крюкин, – неожиданно вступил из своего угла в разговор Анатолий. – Сердце достал, пулю извлек. Крюкин хотел на основе этого даже какую-то диссертацию написать, говорил потом, будучи пьяным, у ларьков, что мог сделать мировое открытие в кардиохирургии. Но пришли новые времена, наука стала никому не нужна. От Крюкина сбежала жена, и он запил и

диссертацию забросил. А пулю носил долго в пустом спичечном коробке, показывал саботульникам. Я Крюкина сам видел, когда в городе учился.

– Болтовня все это. От белой горячки фигну несете. Разгону я вас завтра и все. А этот писака, провел он тебя господин Маркус, – усмехаясь, сказал Мясницкий.

Шнайдер улыбнулся предпринимателю:

– Вы, как и эти ваши соотечественники, слишком впечатлительны, эмоциональны.

Мясницкий вдруг разозлился:

– Нет, меня с ними всеми равнять не надо. Они все – и этот горбун, и газетчик, и все кто здесь обитает – говно. А я сам себя создал. Меня мать в интернат сдала. Кем бы я был? Бродягой, шестеркой воровской или забулдыгой, как они все. А я – Эдуард Мясницкий, стал хозяином собственной строительной компании. Все здесь снесу, потому что я новый человек, человек нового времени. Тот, кого эти неудачники и недоумки называют новым русским. Ошибаешься, немец, у меня нет ничего общего с ними.

– Новые люди только все привыкли разрушать, – с вызовом в голосе сказал Анатолий. – Их сил и стараний хватает только на то, чтобы уничтожить все вокруг. А потом отстраивать приходится тем, кого привыкли называть инертной, безынициативной массой, или попросту быдлом.

– Заглохни, урод, – цыкнул Мясницкий.

– А вон, кстати, внучка Коржедуба мимо парка идет, – стоя у окна, воскликнул Егорыч.

– Что же она не боится нападения зверя? – подивился Маркус.

– Она полусумасшедшая старуха, – ответил Егорыч. – В молодости сильно полюбила одного цыгана. Да Коржедуб запретил ей выходить за него замуж. А она сбежала с парнем, старик же проклял ее. Цыган девку потом бросил. Долго она не появлялась в поселке. Лет двадцать. Потом приехала. Жила здесь, работала в столовой посудомойщицей. Дед так и не простил ее. Теперь Клара, так ее называли в честь революционерки Цеткин, ходит по ночам к его памятнику. Разговаривает со стариком.

– Эй, ты, дура, иди к нам. К нам говорю, поднимись на второй этаж, – крикнул в окно Мясницкий

– Зачем она вам? – спросил Маркус.

– Этот Коржедуб, странная фамилия, со своим свинцовым сердцем заинтересовал меня до жути. Хочется взглянуть на его престарелую внучку, – заметил Мясницкий. – Странное место. Такое ощущение, что я что-то обрету сегодня. В мистику я не верю, но действительно от всех разговоров и меня пробрало. Странное предчувствие.

Все услышали, как входная дверь открылась и в комнате появилась Клара. Она была в старом выцветшем пальто, не менее старой вязаной шапочке, из-под которой во все стороны лезли седые волосы. Клара вошла молча, внимательно и пристально глядя в лица всем кто был в комнате. Глаза пожилой женщины встретились с глазами Мясницкого.

Она вдруг вздрогнула, затрепетала, протянула трясущиеся руки к предпринимателю:

– Стасичка, – плаксиво сказала она.

Все замерли от удивления.

– Ты че шизонутая? – насторожился Мясницкий.

– 28 мая 1971 года, – дрожащим голосом почти прошептала Клара.

– О чем это она? – удивился Егорыч.

Мясницкий напрягся, побледнел:

– Ну?!

– Да? – спросила Клара.

– Да, да, да, – заорал Мясницкий, зрачки его расширились.

– Так это я же тебя в пелёночках у крылечка на станции Завидово оставила, – расплакалась старуха. – Стасичка, я же потом искала тебя, пару лет спустя. Мне никто не говорил, где ты.

– Сука, ты, – злобно сказал Мясницкий. – Сука!

– Я же ведь писала письма по детдомам, – плача говорила Клара. Она пыталась обнять рослого предпринимателя, а тот пятился, уходил в сторону, с ужасом глядя на свою полубезумную мать.

– Что же это: сумасшедший старик там, в парке мой прадед? Старая идиотка – моя мать? А это гнилое место – моя родина?! – расхохотался Мясницкий. – А кто, кто отец?

– Цыган Миша. Дедушка не разрешал мне, говорил, что молода, что все обман... – всхлипывала Клара,

– Цыган Миша?! Это прекрасно! – со злобной иронией воскликнул Мясницкий. – Не зря, получится, я приехал сюда! Вот оно как в жизни получается. Я за все с вами расплачусь, всех вон выгоню, за детство свое, изуродованное по детдомам, за юность мою нищую.

– Вы, значит, наш земляк, продолжатель рода Коржедубов! – вдруг оживился Егорыч. – Вы нас, как родной наш земляк поймите, это же последняя наша пристань, нам же отсюда больше некуда, может, компенсации какие

Мясницкий, выставляя под нос Егорыча фигуру:

–Хрен вы у меня, а не компенсацию получите. И нет, нет ничего общего у меня с вами. Нет! Мало ли, что эта полоумная угадала мой день рождения. Все снесу, с землей сравню, – с громким криком Мясницкий выбежал из квартиры. Со слезами на глазах за ним последовало Клара.

– Ну, так что? – обратился Маркус к Егорычу. – Может, у вас еще свидетели есть, кто видел вашего оборотня? Я хочу поподробнее узнать о нем, о его повадках, о том, как он выглядит.

– Есть один человек. Я его вам сей момент представлю. Это наш комбайнер Никитка, – засуетился Егорыч. – Я мигом, он тут рядом живет.

Егорыч, несмотря на грузную фигуру, довольно проворно выскочил из квартиры.

– Как же вы собираетесь ловить оборотня? – спросил Анатолий Маркуса в наступившей тишине.

– Когда начнут рушить поселок, ваш упырь окажется в критической ситуации, и тогда он себя выдаст сам. А дальше технические моменты и секреты моей профессии, – быстро закончил Маркус.

– Чем же в него стрелять будете? – снова задал вопрос Анатолий.

– Сильнодействующее снотворное. А почему это вас так интересует?

Маркус взглянул в лицо Анатолия. Но горбун промолчал.

– А что потом, как поймаете? – поинтересовалась Марина.

– Внизу стоит машина – рефрижератор. Там есть клеть, туда его и поместим.

– А кому он нужен-то? Пристрелили бы и все, – простодушно удивилась девушка.

– Я не Робин Гуд и не святой Георгий. Я не освобождаю население от чудовищ. Я доставляю их в цирки и балаганы. Люди с отклонениями нынче ценятся не меньше, чем в прошлые века. Я объездил весь свет в поисках образцов аномального развития человека. Моя картотека представляет для ученых большущий интерес. Я даже состою в соавторстве с профессором Кембриджского университета, мы совместно пишем научную работу.

Дальше мои герои только говорят, и я, как автор, перевожу их диалоги по образцу пьесы.

Анатолий: Что же это за исследование?

Маркус: Я объясню коротко. Современный человек – это результат многовековых генетических изменений. Последнее время под влиянием меняющейся экологии, усиливающейся солнечной радиации, из-за волновых воздействий электроники, широкого применения в пище химических веществ, употребления модифицированных продуктов и прочего мутации увеличиваются. Сейчас на планете наблюдается переломный момент, приближаются глобальные изменения, а потому в природе должен происходить усиленный естественный отбор. В отдаленных от цивилизации уголках планеты могут появиться генотипы, которые потом вытеснят остальных менее приспособленных к изменяющейся среде, и Земля будет отдана этому новому виду человека. И если отслеживать и анализировать преобладающее число таких аномалий, можно предположить, как будет выглядеть хомосапиенс в будущем. К какой среде обитания он больше приспособлен. А значит, и понять, какие нас ждут природные катаклизмы.

Анатолий: Достаточно сомнительная теория.

Маркус: Возможно. Но мне кажется, природа творит новые мутации не в сам момент изменения условий выживания. А заранее готовит виды, которые смогут выжить в новой среде.

Анатолий: Что же, после исследования вы всех подопытных – в балаганы?

Маркус: Это вас не касается.

Марина: По мне бы уж лучше и вовсе не знать про такое. Деньги еще платят за то, чтобы поглядеть на калек.

Маркус: Уроды всегда были нужны. Во все века, во все эпохи. Они были при дворах королей, падишахов, они веселили сброд и добропорядочных горожан. Уродов творила природа, а если

этого было недостаточно, то за дело брались хирурги. Уродство нужно человечеству для постижения чувства красоты, а может и для того чтобы понять, что уродство есть в каждом из нас, что мы ничем не отличаемся от них.

Анатолий: Врете вы все. Красуетесь. Хотите выглядеть философом и моралистом.

Маркус: Для чего бы мне это?

Анатолий: Для себя, для оправдания, для успокоения. Мне кажется, вы боитесь смерти.

Маркус: Удивили. Смерти боятся все. И даже уроды, хотя для них это спасение от страданий этого мира.

Анатолий: Вы веселите толпу и даете им несчастных, чтобы обыватели успокоились тем, что кому-то хуже, чем им самим. Чтобы погоготали или просто молча посмотрели на чужое страдание. Чтобы почувствовали облегчение: пусть невыплачен кредит, пусть дети не слушаются, пусть начальник идиот, а жена изменяет с более состоятельным мужчиной – но это все лучше, чем быть вот так, как эти там, на арене.

Маркус: Вам бы открыть лигу защиты уродов. Только вряд ли вы в ней удержитесь. Чтобы стать настоящим чудовищем, надо иметь талант. Боюсь, что кроме вашего нароста на спине вы больше ничем не отличаетесь. Я бы вас не взял ни в один балаган.

Анатолий: А я туда и не спешу.

Спор прекратил приход Егорыча, который привел Никиту – человека неопределенного возраста в ватнике и кирзовых сапогах.

Подвыпивший Никита стал кривляться и кланяться, как на сцене:

– Доброй ночи всей честной компании. А что же у вас ни стаканов, ни бутылок, ни стола? Может, господин угостит?

Маркус вопросительно посмотрел на Егорыча.

Егорыч, обращаясь к Никите:

– Никита, я же тебе по дороге говорил: пол-литра за мной. Ты нам расскажи об оборотне, что ты видал в поселке.

Никита, кивая в окно:

– Оттудова говорят, с крыши водонапорной башни, взлетает упырь. Его уже многие видали.

Маркус: Так почему ж не изловили?

Никита: Мил человек, так всем же жить охота. Сунься к нему, он тебя на куски и порвет. Останешься потом как ливерная колбаса – сплошной фарш.

Егорыч: Анатолий, а у тебя из окна вид на башню велико-лепный. Может, ты чего видел? Я порой замечал: ты по ночам долго свечу не тушишь.

Анатолий: Я читаю, в окно не особо смотрю.

Маркус, обращаясь к Никите: Что еще видал?

Никита: Много чего. Вот если бы вы мне, господин иностранец, на стакашок мутненькой дали, оно, может, и лучше память бы была.

Егорыч: Никита, я тебе заплачу, ты же знаешь, как условились.

Никита: Видал это, значит я, ночью близь озера. Там камыш густой, в нем я спяну и уснул. От Марьяны шел, мы у нее с Михалычем... Ну, это я не о том. Просыпаюсь от холодрыги, комары, падлы, все лицо изъели. Ночь. Хмель и муть в голове. Думаю, где это меня с ног-то свалило. Осмотрелся. Вроде близь озера нахожусь. Зачем меня туда занесло, до сих пор не уразумею. И смотрю, как в тумане, на другом берегу, фигура, значит, маячит. Скрюченная, руки длиннющие, когтистые. Я затаился. Все думаю: учует мертвяк и по мою душу пойдет. А он, значит, постоял на берегу, постоял и ушел.

Маркус: Куда ушел?

Никита: А бог его знает, ушел в темноту и все.

Егорыч, горячась: Ты лицо, лицо-то его разглядел?

Никита: Егорыч, ученый ты человек, а брякнешь, ей богу стыдно. Какое там может быть лицо?! Через сумерки и расстояние только и разглядел: глаза желтым светом горят, харя вся синяя, вспухшая. Не иначе как старик Коржедуб из могилы встал.

Маркус: Почему ты так решил, что это Коржедуб?

Никита: Двужильный он старик-то был. Бывало, подойдет к нам, мужикам, когда комбайны в поле стояли, и начнет говорить: держитесь, мол, за дело отцов и дедов своих. Если вы против коммунизма пойдете, я сам из гроба встану и всех к ответу призову.

Маркус: А может это зверь? Медведь, например?

Никита: Не-е! Мы тоже хоть и пьющие, а не дураки. Зверей

у нас уж лет сто назад всех отстреляли. Мы за цветным металлом всю округу исходили, с кладбища все надгробия снесли, из земли все трубы вырыли. Логова медведя никто нигде не встретил. Здешний это упырь, в поселке он хоронится.

Маркус задумчиво: Возможно, ты прав. Все, свободен.

Егорыч сунул Никитке в ладонь несколько смятых купюр: спасибо тебе, иди теперь домой.

Но Никитка, решив, что с богатого иностранца можно будет вытянуть еще немного денег, уходить не собирался.

– А может вам «Демона» из, – Никитка задумался, махнул рукой, – автора моя память уже утерала, а стихи помню. Или вприсядку сплясать? Или спеть?

И он дико зашел:

– Скакал казак через долину,

Через маньчжурские края...

Маркус махнул Егорычу рукой: мол, убирай ты этого горлопана. Бывший редактор обнял Никитку за плечи и, уговаривая, вытащил из квартиры.

Анатолий долго смотрел в спину ушедшим. Потом с сожалением сказал:

– Странно, я когда-то видел Никиту на сцене дома культуры. Он читал стихи из «Демона». Лицо у него было живое, человеческое. А теперь? Почему мы позволили превратить себя в животных? И кто является чудовищем – тот, о ком мы говорим, или те кукловоды, что превратили нашу жизнь в страшный балаган?

Егорыч, вернувшийся, от дверей:

– Ну что ты от него хочешь, Никита бывший тракторист, работяга.

Анатолий: Все мы, живущие в этом поселке бывшие люди. Вы – бывший редактор, Никита – бывший краснознаменец и комбайнер, я – бывший недоучка-студент. (Его взгляд упал на Марину.) Только она человек нашего сегодня.

Егорыч: Она – человек сегодняшнего дня!? Ты что, и вправду поверил, будто она студенточка техникума?! Светлая и чистенькая девочка! Шлюшка она. Дешевая блядь. На вокзале видел ее среди телок.

Марина кинулась к редактору, пытаясь расцарапать ему лицо:

– Врешь, врешь, козел старый. Я парню своему скажу, он тебе жопу порвет.

– Конечно, парень у тебя, мальчик из элитной семьи, как же я забыл, – загоготал Егорыч, схватив ее за руки. – Кому ты лапшу вешаешь? У вас, у блядей, все истории одинаковые.

Он отшвырнул ее от себя прочь. Марина отлетела к стене, сползла по ней спиной и, согнувшись на полу, зарыдала.

Маркус поморщился от этой сцены и обратился к Егорычу:

– Мне нужно осмотреть еще и вашу квартиру. У вас окна тоже выходят на водонапорную башню? Если упырь взлетает с нее, я хочу понять, как расставить стрелков для засады. Меня внизу ждут два охотника.

– Конечно, пройдемте ко мне, – согласился Егорыч.

Они ушли в комнату редактора. Анатолий и Марина остались одни.

Внизу, на улице послышался рев моторов, скрежет гусениц. Анатолий бросил взгляд в сторону окна. По дороге двигалась колонна бульдозеров, прибытие которых обещал Мясницкий.

Горбун подошел девушке.

– Что смотришь, урод? Не нравлюсь? – со злобой, сказала она.

Анатолий резко поднял Марину на руках.

– Не надо плакать. Я верю тебе. Мы такие, какими выглядим внутри, ну а внешняя оболочка – это все ерунда, мимикрия. Ты хорошая, славная. Жизнь заставляет нас идти против наших чувств и нравов. Делать то, что, быть может, мы никогда бы и не стали делать. Все изменится. Если хочешь, мы сможем быть счастливы и свободны.

– Дурак ты, начитавшийся книжек. Это там все написано про любовь, да про то, как все хорошо кончается. Счастье?! Когда собственная мать сама рада подложить тебя своим друзьям за выпивку. Когда вместо девчоночьей любви тебя трахает за баней, среди бурьяна пьяный вонючий мужик. И это для того, чтобы купить нормальную куртку. Потому что в училище все смеются над моим старым балахоном и парни шарахаются как от чумной. Нельзя быть счастливой после всего этого. Я всех ненавижу. Всех. Во мне грязи как в сточной канаве. Уйди от меня, придурок.

Анатолий еще крепче прижал к себе девушку:

– Ты хотела бы улететь отсюда? Знаешь, как удивительна бывает Земля с той высоты, где скапливается теплый воздух?! Можно лететь в тишине, наблюдая, как качаются деревья в лесу, как текут реки среди полей. Мы как букашки ползаем по поверхности планеты и даже не знаем, как она прекрасна. Там, в вышине, можно видеть ее лик, ее мудрость и силу. Если хочешь, я покажу ее тебе такой. Можно найти тихий край с ручьем и пещерой и поселиться там.

Он прикоснулся губами к ее уху и прошептал что-то. Марина вскинула удивленно на него глаза. Она робко обняла его, руки девушки коснулись горба.

В квартиру снова вошли Егорыч и Маркус. Марина быстро отошла от Анатолия. Егорыч деловито провел иностранца к окну.

– Отсюда удобней будет следить за окрестностями. Хорошо просматривается крыша башни, – как заправский стрелок заметил бывший редактор.

Маркус включил микрофон, прикрепленный к вороту его куртки, и передал приказ своим подручным, расположившимся внизу.

– Я бы хотел поговорить о моем вознаграждении, ведь как писал Яша, вы выплачиваете награду за информацию о подобных существах, – сильно волнуясь, заговорил Егорыч.

– Не беспокойтесь, премия вам будет выплачена, – заверил охотник.

– А что же будет тому, кто поможет изловить зверя, – спросила Марина Маркуса, внимательно осматривающего виды из окна.

Тот обернулся к девушке.

– 1000 долларов, – сказал Маркус.

Горбун посмотрел на лица девушки и своего соседа, они были озабоченные, сосредоточенные, так, словно разговор о деньгах сделал их сообщниками.

– Это он! – завизжала Марина, указывая на Анатолия. – Я у него крылья под одеждой почувствовала, когда он меня обнял.

Маркус схватился за чехол с ружьем. Горбун метнулся прочь, но девушка вцепилась в него руками. Он оттолкнул ее, рванулся, но Марина повисла на нем.

– Держать его, держать! – вырывая из чехла винтовку, кричал охотник за урдами. Егорыч испуганно прижался спиной к

стене. Горбун развернулся, чтобы отшвырнуть от себя девушку, но в лицо ему устало ружейное дуло.

– Не стоит сопротивляться, – сурово сказал Маркус.

Горбун обмяк. Марина, испуганно косясь на ружье, отскочила от Анатолия.

Егорыч: Анатолий?! Да как же это ты так?

Марина, повторяла как заведенная:

– У него крылья под одеждой. Я их сквозь ткань почувствовала, когда он обнял меня.

Маркус сказал, обращаясь к Егорычу:

– Снимите, снимите с него одежду, я хочу посмотреть, что у него под ней.

Егорыч испугано:

– Не-не-т, а вдруг, вдруг он набросится на меня? Зовите на подмогу своих людей.

Маркус:

– Пусть они остаются внизу. Если он только попытается сбегать из окна или выскочит через дверь, они его там и подстрелят.

Егорыч, трясаясь всем телом, осторожно подошел к своему соседу.

Маркус: Не подставляйтесь под дуло, сзади подойдите к нему.

Егорыч непослушными пальцами расстегнул кофту на Анатолии, стянул ее. Потом расстегнул пуговицы рубашки и сдернул и ее. Марина и Егорыч выдохнули от удивления.

Маркус нервно выкрикнул: Что там у него?

Егорыч: Крылья!

Маркус вытянул шею и тоже разглядел два крыла.

– Значит, ты и есть оборотень?! – пробормотал Егорыч. – Ну, Анатолий! А я еще с тобой самогон пил. А ты оказывается чудовище. Непостижимо. Как же я, старый осел, не догадался-то сразу?! А у него еще стишки такие были. Они мне странными показались, когда он их читал. Сейчас вспомню. Вот:

Отпустите меня, отпустите,

За собою зовут облака,

Не душите меня, не душите,

Задыхнулась средь вас душа.

– А сам-то ты кто – душегуб! – с пафосом закончил сосед.

Анатолий со злобным смешком сказал

– Душегуб!? А есть ли у вас души? И чем ценны они, если

они имеются в вас? Вы наполняете себя жратвой и питьем, удовольствиями и злобой, хитростью и обманом. Разве среди этого зловония может обитать душа?

Егорыч: Непостижимо, как же я проморгал-то тебя?

Анатолий, не слушая соседа, продолжал говорить в пустоту:

– Каждый из нас называет себя человеком. Но что мы делаем, чтобы считать себя таковым? Как из куколки появляется бабочка, так и человек должен рождаться из мыслей, душевных переживаний. Мы всего лишь человекоподобные. Уметь расписываться в табеле о получении заработной платы, гнать самогон или травить анекдоты – это еще не значит быть человеком. Иные человекоподобные настолько хорошо подделываются под людей, что и отличить сложно на первый взгляд. Как это ни странно, человекоподобных развелось жуть как много, так что они теперь даже и не стараются соблюсти человеческий облик. Обратные вы все, и даже и не заметили, как превратились в то, что есть.

Маркус: Это даже интересно – монстр-философ. Выучите пару языков и читайте ваши сентенции в балаганах разных стран. Но вы правы, лекциями сейчас никого не удивить.

– Когда же деньги можно будет получить? – Егорыч подступил к Маркусу. – И, пожалуй, нужно бы накинуть в виду изменившихся обстоятельств. Нас выселяют, господин Шнайдер. Сумму бы надо увеличить. Прошу к деньгам за информацию о чудовище приплюсовать и мои услуги в поимке.

– Тысяча моя! – резко сказала Марина

– Ступай на панель, шлюшка, – обрубил Егорыч. Он схватил ее и попытался вытолкать из квартиры.

– Старый козел, – взвизгнула девушка и полосонула когтями по его лысине, а затем вцепилась в остатки волос над ушами. Егорыч взревел, и они схватились одновременно в смешной, нелепой и ожесточенной борьбе. Они уже не видели ничего, налетели на Анатолия и закрыли его своими телами от ружья охотника.

– Идиоты, остановитесь! – закричал Маркус, посылая проклятия на немецком языке.

Анатолий бросился к окну. Послышался звон стекла. Маркус выскочил из-за барахтающихся тел Марины и Егорыча, вскинул винтовку прикладом к плечу. Девушка, поняв, что сейчас произойдет, от ужаса оттолкнула Егорыча, присела на полу, при-

крывая уши руками, чтобы не услышать грохота выстрела. Горбун был уже на краю подоконника и кинулся вниз. Маркус выстрелил, но понял, что было уже слишком поздно. Все втроем Маркус, Марина и Егорыч кинулись к окну, мешая друг другу плечами, толкаясь головами.

– Где он....

– Темно, темно, не видеть, проклятая страна.

– Расшибся, небось?

– Вон он, оборотень, – закричала из-за спин Марина.

Вверху, по блеклому желтоватому небу плыл силуэт человека...

...Моя история была странной и почти фантастической. Как я уже упоминал, в юности у меня без всяких на то причин стал расти горб. Горб рос, давил своей тяжестью. В нем накапливался гной обид, разочарований, усталости от общения с людьми. Горб ныл и разбухал, мешал передвигаться и спать. Он был как зубная боль. А еще было такое чувство, словно в нем зарождался маленький ребенок. А потом однажды он лопнул, и я почувствовал шевеление. К своему ужасу не мог сразу понять, что это такое. Рассмотрел в китайском зеркале, висящем на гвозде в комнате, что у меня за спиной были крылья. Это были жалкие отростки в какой-то липкой слизи. Отвратительное убогое зрелище уродства. Ужас охватил меня! Куда обращаться, что делать, как жить дальше с подобным? Я прятал эти отростки от людей, становился все более замкнутым. А отростки росли, становились крепче, больше. Потом я понял, что могу летать. Невысоко. Чуть приподнимаясь над землей, на несколько секунд отрывал ноги от поверхности. Крылья росли, становились мощнее, и вот я уже приподнимался над травой, легко перелетал ветхие заборы, а потом взвился в темноте ночи над сараями, огородами, коньками крыш. Я летел в темноте! Над головой были ясные звезды, тихие, торжественные, единственно близкие в этот миг мне существа. Спали птицы, спали люди. И я был свободен. И только собаки, стерегущие покой и миропорядок людей, злобно заливались лаем и истошно выли на мое ночное парение. Они жалко подпрыгивали и снова падали в грязь....

Теперь я летел снова и мог наблюдать за тем, что происхо-

дит внизу. Было видно, как команда Мясницкого выстраивает трактора в единый фронт, для того чтобы начинать рушить дома. Маркус, высунувшись из окна, целился в меня и одновременно давал указания своим людям.

В своем плече я ощутил боль. Когда я спрыгивал с подоконника, пуля Шнайдера все-таки задела меня. Я отлетел не так далеко от поселка, поэтому спешно приземлился в заросли камыша и чахлах болотных деревьев, чтобы срочно перевязать рану, иначе, обессилев от потери крови, я скоро попаду в клетку Маркусу Шнайдеру. А преследовать он меня будет до конца, я это знал.

Мне пришлось оторвать нижний край рубахи, чтобы перемотать рану. Повязка была почти готова, когда я почувствовал этот отвратительный запах. Это был он. Тот самый – кто выедал кишки, калечил и истязал по ночам людей. Тот второй урод. Теперь он добрался и до меня.

Я хотел взлететь, оттолкнуться от земли. Но ужас сковал меня, когда я увидел сквозь заросли и темноту эти желтые глаза. Конечно же, как я не догадался сразу, это мог быть только он – Нинон! Нинон, которого в полумраке принимали за мифическую тень старика Коржедуба. Его взгляд парализовал меня, природа наделила хищников и политиков страшной гипнотической силой. Отступить было некуда, надо было сражаться. На смерть. Я уже видел эту по крысиному полусогнутую фигуру с удлинненными когтистыми руками-лапами. Он шел напролом сквозь кустарник, из его пасти слышалось шипение и глухое рычание. Над головой сквозь одежду резко обозначался острый хребет. Мне надо было бы взлететь, но в этот момент над оврагом появился Маркус с ружьем наперевес. Он еще ничего не успел сообразить, оценить ситуацию.

– Не двигайся, упырь! – дуло ружья направилось в меня.

И тут до него дошло, что кто-то у него за спиной ломится через заросли. Тело оборотня взметнулось в смертоносном прыжке. Маркус был и вправду отличным охотником. Извернувшись, выстрелил в зверя. Я услышал, как пуля с чмоканьем ударилась в грудь Нинона. Но когтистая рука чудовища успела распороть живот и грудь охотнику. С диким воем, от которого волосы зашевелились на голове у всех обитателей поселка, оборотень метнулся в темноту.

Маркус прикрывал вываливающиеся внутренности руками. Сквозь пальцы сочилась слизь и кровь. Ружье валялось в стороне. Я осторожно подошел к охотнику. Он весь дрожал от боли и ужаса. Наши глаза встретились.

– Горбун, а ты был прав. Больше всего я боюсь смерти, – стуча зубами, в нервном шоке произнес Маркус. Он попытался улыбнуться. Но это была страшная улыбка. – В молодости меня преследовала странная мысль: как я умру, и что за люди будут окружать меня в эту секунду? И стоит ли вся моя предстоящая жизнь этого момента? Нам кажется важным встретить любовь, нажить достаток. Все хочется успеть здесь, всем насладиться. Это кажется важным. Глупости! Ничего нет важнее той последней минуты, когда тебе предстоит понять, что ты покидаешь этот мир. А там дальше что? Страшно!

Серое его лицо передернулось от боли.

– Я посмотрю рану? Или, быть может, дотащить тебя до твоих людей?

– Со мной все, – хрипло сказал охотник. Вся его воля была направлена на то, чтобы не закричать от боли. – Уходи, а то мои поймают тебя. Я их знаю. Сам воспитал такими, чтобы ничего человеческого не было в их душах. Улетай скорей!..

Я услышал крики, хруст камыша, топот приближающихся ног. Подручные Маркуса спешили к нему на помощь. Ждать было больше нельзя. Я оттолкнулся от земли, взмахнул крыльями, боль в плече страшно мешала, но я понесся вверх, туда, где меня подхватит ветер и где, раскинув крылья, словно на парусах можно понестись в воздушном потоке.

Я бросил последний взгляд на поселок. Это было как неуклюжий детский рисунок. Отсюда сверху я видел, как вокруг Маркуса сгрудились его люди. На болоте, в черной норе, скрючившись, полузверь-получеловек Нинон зализывал рану. Металлические чудовища в поселке уже рушили домишки, из них выскакивали и разбегались бомжи. Водонапорная башня рухнула и придавила бульдозер, в кабине которого сидел Мясницкий. В окне своей квартиры я увидел силуэт девушки. Она следила за моим полетом. Возможно, я ошибаюсь, но мне показалось, что наши глаза через немалое расстояние встретились, и в ее взгляде я почувствовал тоску цепного зверя.



Александр К Р Я Ч У Н

Г Л А В Н А Я Р А Б О Т А

В художественной мастерской стояла тишина. И если на-прячь слух, то можно было услышать, как от тлеющей сигареты отрывается дым и трётся о застоявшийся воздух. Он остывал у самого потолка и невидимыми песчинками сажи опадал на немытый пол, застланный ковровой дорожкой, похожей на давно нечищеную палитру.

В изодранном кресле, о которое будто чесали свои когти тигры, сидел седой художник. Андрею Крутову казалось, что вся его жизнь прошла в этом помятом полустуле-полудиване среди холстов, подрамников и картин: законченных, недописанных, триумфальных, знаменитых, порочных, забытых и изрезанных в клочья порывами безумия. Словно не было в его жизни дерзких восхождений на вершины гор, не было той молодой задорности и упрямства, когда можно было работать упоённо и бессонно сутками.

В мастерской существовал идеальный беспорядок, но именно этот хаос – Андрей считал порядком. Существующий «бедлам» ему не мешал. Он помнил, где находится каждая оставленная им вещь; где лежат и какие завершённые и неоконченные работы. Он знал, какое полотно нужно уничтожить, а какое попробовать дописать или доработать. В дальнем углу, куда просто так не добраться, за любимой картиной «Начало полевого сезона», стоит полбутылки водки, недопитой три года назад, а

рядом лежат поломанные, в период депрессии, кисти – которые нужно было выбросить ещё раньше.

Бывали моменты, когда напознала на Андрея черная апатия.

А если не удавалось вырваться в горы, тогда тяжёлая чугунная тоска заполняла время, и не было возможности чем-либо занять себя: не хотелось сидеть, не хотелось лежать, не хотелось стоять и ходить, есть и пить, читать и писать. В такое смурное время брал он бутылку водки, а то и две, закрывался, и в тишине мастерской, наедине с самим собой пил, выгоняя внутреннюю усталость из себя, заполняя освобождаемое пространство алкоголем. Опьяненный мозг иногда начинал бунтовать, и лезли окаянные мысли, типа: «Зачем тебе муки «приговорённого», у пустого холста? Есть ведь другая специальность, которая может прокормить...». И находило безумие. Врывалось некротимым драконом в пьяное тело: ломал тогда Андрей кисти, рвал полотна. Долго потом стоял в ушах звук раздираемых холстов словно стрёкот пулеметной очереди, прошивающей его ослабленное тело.

Отходя от приступов, смотрел на растерзанные полотна и не жалел о содеянном. Знал, всё случившееся – это сопутствие перерождению. Значит, теперь всё начнет получаться.

Андрей подошел к патефону. Накрутил ручку и поставил пластинку. Послышалось шуршание иглы, и железно зазвучала музыка Чайковского – «Времена года». Не зная даже почему, он предпочитал всем современным магнитофонам и проигрывателям – этот старый патефон, который к своему нынешнему удовольствию не раскурочил в детстве.

Приближался не очень им любимый день – очередной юбилей. Чем больше ему было лет, тем не желаннее он становился. По традиции, как всегда, нужно было организовать выставку, прилично выглядеть и подготовиться слушать о себе хвалебные небылицы, типа: «Вот уже сорок с лишним лет не выпускает из рук кисть художник...»

Это была ложь. Впервые Андрей взял в руки кисть в 26 лет. Выставился в двадцать девять. Предпринятая им попытка в 27 лет поступить в Ленинградскую Академию художеств была един-

ственной. То было критическое время – принимали только до этого возраста. Его не допустили даже до собеседования – провал был полный, с устной формулировкой в виде вопроса: «Иметь диплом технического ВУЗа и лезть в художники? Зачем же тогда государство тратило деньги, выучивая тебя на инженера?»

– Да, зачем? – На этот вопрос уже не ответит никто: ни сам Андрей, ни государство.

Для юбилейной выставки нужно было отобрать шестьдесят произведений – по одному за каждый прожитый год. Работ накоплено много, но желание сотворить ещё одну, которая стала бы на порядок выше всех написанных, не покидала художника.

Какой она будет, последняя предвыставочная картина, и что на ней будет изображено, он не знал. Он хотел её, он знал, что она нужна - непохожая на все написанные. Будет ли она главной или последней, началом ли нового порывистого вдохновения или преддверием упадочного состояния, которое бросит художника в запой, ему было всё равно. Где-то в подсознании кололо, что он сделает её. Но где и как? Оставалось тридцать суток. Семьсот двадцать часов. Много, очень много времени, которого может не хватить.

Прозвучали последние аккорды из патефона, игла со скрипом сползла к центру пластинки и запрыгала, железно икая.

Крутов решил провести ревизию, пересмотреть и отсортировать свои работы к предстоящей выставке. Этим он не занимался уже десять лет, после последнего юбилейного вернисажа. Андрей встал с кресла и начал развешивать картины по стенам, вплотную: бок о бок. Готовые работы в рамках он вешал на гвозди, картоны ставил у стены. Карандашные наброски и эскизы укладывал на пол. Вскоре все стены, вплоть до потолка были заполнены. Почти сотня картин. Многие были на стадии завершения. Не было только одной работы, самой первой – которая участвовала в первой выставке. Она была подарена альпинистскому клубу тридцать лет назад.

Художник начал просмотр от двери и шёл, всматриваясь в каждый мазок. Потом отходил и думал: «Есть ли мысль в данной картине?». Даже хорошо выполненную работу, но «без мысли» он откладывал, сразу приговаривая к отречению от выставки.

Каким-то вторым чувством он улавливал в безжизненном холсте, что не вернётся к нему никогда, не допишет, не доработает. Эти неоконченные, обречённые, словно яйца-болтуны из-под наседки, сразу шли в утиль. Философские сюжеты, которые мог понять только он, а зрителю нужно растолковывать, Андрей оставлял на нейтральную зону. Это были работы болезненных галлюцинаций: в них ощущалось отсутствие Бога, красоты и смысла, хотя некоторым посетителям такие картины даже очень нравились. Иногда, на личной выставке, где-нибудь в подворотне, у безумной работы «Оцепенение», где в паутиновом плену его мозг пожирали чёрные пауки, народу толпилось больше, чем у пейзажа «Ледник Петрова» с зелёными могучими трещинами и серыми холодными камнями, меж которых росли густые плешины эдельвейсов. Он не мог понять, почему у него такой разброс тем: от «нервно-паралитических» до возвышенных и любовно-поэтических. В чём причина? Ведь кисть держали те же ладони, касались те же пальцы... Но он помнил состояние своей души, какое оно было при каждой работе.

К пейзажам Крутов подходил честно и настойчиво, чуть ли не через лупу изучая строение листа и коры деревьев, чтобы найти тот искомый цвет, который будет главным – это были времена лирического настроения. Во времена депрессий работал в основном мастихином¹. Широкими мазками, торопясь и искажая действительность. Увиденный в яви и трансформированный в его мозгу сюжет не имел даже близкого сопоставления с сюрреализмом, кубизмом или абстракционизмом. В рисунке было вроде и «то» и «не то». Какие-то инородные штрихи, которые рука «мазнула» невольно, будто ведомая чужой силой, дополняя и искажая задуманное. Но Андрей не осмеливался убрать этот мазок – тогда картина вообще теряла смысл. А обдуманые, мрачные работы – в стиле Босха² – он вынашивал неделями, иногда годами. По крупицам, из танцующего хаоса мысли выуживая злую действительность.

¹ Мастихин – специальный мастерок, используемый в масляной живописи для смешивания и удаления красок, но часто и для нанесения красок, вместо кисти.

² Босх – Иерним Босх (1450 – 1516) – нидерландский живописец мистического направления.

Кроме пейзажей гор, и только гор, Андрей иногда переключался на философские темы, выискивая свой «камень», о который можно было опереть его жизнь – полную мечтаний, риска, любви и отчаянного жизнелюбства. Он не считал предстоящую выставку подведением итогов - впереди была ещё целая жизнь. Но так заведено у человечества: на каждую круглую дату устраивать поминки прошлого, называемые – юбилеем.

Выпив утром «атомную» дозу горького кофе, Андрей уходил в мастерскую. Уходил по остывшим за ночь утренним улицам. Шел медленно, приговорено неся тело в свой храм, где пустые холсты, как ненаписанные иконы, которые ждут изображения своих ликов. Садился у обнаженного полотна. Перекладывал кисти. Пытался делать наброски, желая в случайном карандашном штрихе уловить искаемое. Мелькали идеи: сумасшедшие – на грани разумного, разумные - на черте безумия. Простые, как «Джоконда» Леонардо да Винчи и сложные, словно «Черный квадрат» Малевича.

Как и все, приобщенные к миру искусства, Андрей мечтал о своей главной работе, которую не напишет. Как не написал никто из художников прошлого и не напишет ни один художник будущего. Даже отдав всего себя главному полотну жизни, будет хотеть большего. Ведь если смог «Это!», значит, можно сделать и ещё лучше. И вновь начнутся муки исканий, преодоления грани, за которой возникает возможность изобразить что-то ещё мощнее, ещё проникновеннее, ещё безумнее и ярче. И после этого опять вперёд, к следующей преграде, чтобы снова и снова достигать недостижимое. И дальше: уже ползком, уже в предсмерти, сжимая в судорожных руках кисть, истекая разумом, сделать последний мазок и прошептать агонизирующим ртом: «Не успел...».

Но пока художник чувствовал: есть силы для броска. Много сил. Чувствовал, что набрался он опыта жизни и именно сейчас нужно работать и работать. Но юношеский задор кончился и не осталось того мощного порыва, когда он мог, спустившись с Горы, сутками стоять за мольбертом, дуреть от запаха льяного масла и красок.

А может быть, она была у него – «Главная работа»? Самая серьёзная работа, после которой он понял, что стал художником

и стал навсегда? Потому что художников не бывает «бывших». Первая серьёзная картина и первая выставка встали в один ряд воспоминаний: о первой любви; первой ночи у костра; первой пойманной рыбе; о первом поцелуе; звуке вальса Мендельсона и рождении первого ребенка. Вспоминается это время, как начало «Вечной весны», которая, к сожалению, иногда превращалась в окутанную липкой слякотью – «Черную зиму».

Зазвонил телефон. Он был моложе патефона, но старше хозяина. Его чёрное, надтреснутое нутро звонило обычным дверным звонком. По пустякам Андрею не звонили. Только ежедневно звонила жена с вечным вопросом: «Придет ли он сегодня обедать?». В остальных случаях звонки приносили ему что-то новое и связывали его с другим миром, который находился за пределами стен мастерской. Даже услышать голос друзей было везением.

– Да, да, - Андрей поднял трубку.

Как он и ожидал, звонил старый друг Николай, с которым уже сорок лет роднила их не только дружба, а какое-то братство, которое зародилось ещё в молодости при совместных походах в горы. Часто они были партнёрами в альпинистской связке. И дорог был Николай Андрею ещё и тем, что благодаря ему состоялась его первая в жизни выставка. Состоялась! Это событие, тридцатилетней давности не забывалось и помнилось отчетливостью даже небольших деталей и диалогов.

Память прорвалась в прошлое. Что вспомнилось – значит, так и было.

Была молодость. Бесшабашество. Экспедиции: долгие, рискованные, впечатляющие. Горы лежали раскрытыми и обнаженными у ног: исследуй, изучай, познавай. Их не надо просить – они отдавали всё сами. Только не терзай, не насилуй и не применяй к ним пошлое слово: «Покорил!». Величие Тянь-Шаня и Памира одурманили Андрея. Ошарашенный увиденными красотами он взял в руки кисть. Никогда у него не было даже мысли – становиться художником, но он должен был им стать – донести до людей то, чего они никогда не увидят. И он им стал. Как это далось ему – не объяснить, как и не объяснить душевное состо-

яние неандертальца, пытавшегося каменным зубилом высечь на стене пещеры нежный цветок. Понять – значит быть им.

В ту пору Крутов не носил на груди креста. Амулетом выживания была великая вера в судьбу, надежный клюв ледоруба, правильно вбитый крюк и познание всего, чему учила жизнь. Андрей просил самые «крутые», самые дикие командировки. Ему охотно уступали. Обременённые семьями изыскатели не очень рвались в опасные и долговременные маршруты. Свой «бальзам» он пил взахлёб – благо его было вдоволь. «Белые пятна» ещё водились в нехоженных «дебрях» Азии. Дуря от ледников и водопадов, от спящих снеговых пиков, от нанесённых на карты моренных озёр, Андрей работал до изнеможения.

Распределение веса в рюкзаке считалось одним из критериев успешных переходов по горам, но он предпочитал брать вместо ружья – этюдник. Благодаря этому, добывать пищу Андрей научился не коварным выстрелом убийцы, а хитроумными силками и капканами, изготовленными из подручных средств, в которые попадала наиболее глупая и слабая живность – тем самым продолжая начатый природой «естественный отбор». Сливаясь с окружающей средой, безбоязненно уходил одиночкой в самую глушь неизведанности. Он не боялся диких зверей, хотя встречал часто и много. Спал под нишами скал и в густых зарослях колючих кустов, в пещерах и среди каменных глыб, на высушенных плоскостях пустынь и у кромки росистых берегов горных рек. На ночь разводил костёр, который подкармливал сыроватым камышом, еловыми лапами или полуперегнившей листвой для большего задымления.

Андрей учился у природы всему: находить воду в засушливых районах; искать еду, где казалось, нет ничего съедобного; выживать в условиях, стоящих ближе к смерти, чем к жизни; ориентироваться на местности в непроглядной мгле; ходить по натечному льду и отвесным скалам, а главное – он познавал таинство живописи. В условиях «на грани» всё схватывалось цепко и навсегда. Он чувствовал, что после каждого удачного этюда утверждалась вера в себя, как художника. По возвращении в город Крутов выискивал книги по искусству и учился: работал карандашом до судорог в пальцах, закрытыми глазами доводил

контуров квадратов и кругов до совершенства. Он сам надел на себя «вириги художника», ещё не совсем осознавая, какое место в его жизни займут холсты и кисти.

Уже созревшим художником, он стал понимать степень «величайшего опьянения от искусства», которое вершил сам. Но искусство жестоко – оно делает человека «рабом тщеславия», тем более с характером Андрея. У него был один путь: «или всё, или ничего!». А чтобы быть услышанным, надо было иметь «всё!». А это стоило очень дорого – цена иногда зашкаливала за здравый смысл: потери рассудка или повреждения психики...

Однажды к нему в квартиру ворвался Николай. Не просто вошел, как обычно, а влетел словно лист, сорвавшийся с осенней ветки, и не здороваясь, выпалил:

– Андрюха, есть возможность выставиться.

– Да, ты что? Какая выставка? Кто мне разрешит, самоучке?...

– Именно. Выставка самодеятельных художников у нас в заводском клубе. Через два месяца, к юбилею Республики. Ориентировочное название – «Герои труда – их будни и праздники». Тебе нужно написать чей-нибудь портрет – и выставка обеспечена.

Шанс нельзя было упускать. Не всегда ведь лежать его картинам пыльной грудой в паутиновом углу.

– Напишу тебя!

– Какой же я герой? – удивился Николай.

– Будешь! Я сделаю! – уверенно, с готовностью сразу же братья за работу, сказал Андрей.

Тема картины родилась сразу: дерзкая, живая, четкая. Он напишет в облике Николая – ослабленного победителя, только что спустившегося со своего первого семитысячника – пика Хан-Тенгри³. Ему не надо вживаться в образ.

Стоял июль – разгар командировок. В любой день и даже час Андрея могли сорвать и бросить в маршрут. И как всегда: далеко и надолго. Он решил на следующий день попытаться взять на работе отпуск на неделю.

³ Хан-Тенгри – (с тюрск. - Властелин Духов) – вершина на Тянь-Шане, высота 6995 метров. Приравняется к семитысячникам.

Алексей Анатольевич Табаев – начальник экспедиции – приходил на работу рано. Крутов уже ждал. Он знал, что этот суровый от жизни человек, носивший кличку – Табай, в свои шестьдесят лет нахлебавшийся вдоволь изыскательской жизни, способен понять и принять участие в чужой судьбе. Но Андрей не хотел опережать время и сообщать о выставке. О его стремлении стать художником мало кто знал. Ну, малюет парень и пусть малюет – вон некоторые ракеты пускают, но не лезут в космонавты.

– Алексей Анатольевич, мне нужно семь дней свободы, – сказал Андрей, здороваясь с начальником.

Табай крепко пожал ему руку: «Какие семь дней, да и ещё свободы? Завтра в Алайку тебе. Сам просился. Как раз для тебя – окраина Родины, дикая глушь, через гору слышно, как китайцы жуют рис».

– Очень надо.

– Если Алайку тебя не прельстило, значит действительно тебе надо. Верю. Не спрашиваю – зачем? Можно, сказал бы. Машина с грузом уходит завтра. Три дня в дороге, день на устройство лагеря, день «вне регламента» - новоселье, день для разведки местности и день потерпят – ожидая тебя. Вылетишь самолётом на седьмой день. На восьмой должен быть на месте, – Табай сделал ударение на последнем слове, что означало, одно и то же с приказом: «Обязан быть во что бы то ни стало!». Вещи отправишь с машиной. Возьми карту – и ко мне. Я покажу, где будет лагерь. Твои «семь дней» начнутся завтра утром. Всё! – начальник экспедиции, как всегда, решил проблему Андрея быстро, грамотно и без лишних слов.

Андрей тут же позвонил Николаю:

– Колька, картина готова – её осталось только написать. Жертвуй недель. Возьми отгулы, отпуск, заболей, сбег с работы или скажи, что у тебя запой. Но ты мне нужен на неделю. Пойдем на Эньльчек⁴. Меня шеф отпустил только на семь дней. Не больше. За это время мы должны с тобой совершить почти невозможное.

– Да, я знаю – «искусство требует жертв». И я, значит, буду ей.

– Побудешь. Сам заварил кашу.

⁴ Эньльчек – один из крупнейших ледников Средней Азии. Разделён на два рукава – Северный и Южный.

– Хорошо. Я согласен.

Николай работал токарем на машиностроительном заводе. Точил детали для сельхозмашин и втихаря ковал дефицитные скальные крючья. Там же при заводском клубе вел секцию альпинизма. У администрации завода был на хорошем счету и имел преимущество перед Андреем: брать отпуска летом – водить группы в горы. Вырвать неделю в счет отпуска для него не было проблемой.

Вечером собрались в мастерской.

– Условие одно, - начал Андрей, - на Эныльчеке никаких мазей от ожогов, никаких противоснежных очков. Мне нужна твоя обгоревшая морда.

– А нельзя без Эныльчека? Я и здесь рядом, на какой-нибудь вершине, так обгорю, что шкура с меня слезет словно ороговевший слой кожи со змеи в период линьки.

– Что, я тебя – «Снежного Барса»⁵ - буду писать на фоне какой-то третьеразрядной горы ?

– Как скажешь. Я в твоей власти, - Николай, словно сдаваясь, поднял руки.

– Подъем завтра в пять утра. Наша «крейсерская скорость» должна быть не менее пятидесяти километров в час. Попрямую, на попутках. Расстояние в пятьсот километров мы должны покрыть за двенадцать часов. Будем ехать, идти, ползти, но завтра, до двадцати четырёх часов, мы должны быть у Алымкула – знакомого егеря в посёлке Кок-Кия, – Андрей старался решать будущие проблемы быстро, подражая Табаю.

– Что брать с собой?

– Ты будто первый раз в горы идешь? Расчет на два дня: минимум продуктов, спальники, этюдник, ледорубы. Никаких крючьев и верёвок. Маршрут проверенный, они не понадобятся.

– «Кошки» брать?

– Нет! Дойдем только до последней зелёной поляны. До неё тропа. По леднику не пойдём. Выезжаем сразу в снаряжении, сыграет и психологический фактор – шофера любят подвозить бродяг, да и рюкзаки будут полегче.

⁵ «Снежный Барс» - почётное альпинистское звание. Присваивалось побывавшим на пяти семитысячниках СССР (включая пик Хан-Тенгри – 6995 м)

– Что ты мне объясняешь, словно первоклашке. С тобой же сколько раз проходили этот маршрут.

– Потому и объясняю, чтобы лишнего и ненужного не напихал в рюкзак. Ведь знаешь: лишний килограмм - это минус, не пройденный километр. Иди за рюкзаком – ночуем здесь.

Своё снаряжение Андрей хранил в мастерской. Пока Николай ходил за вещами, Крутов, приложив неимоверные усилия, расчистил небольшой участок пола для двух спальников.

Как всегда, спалось плохо. Даже частые отъезды не приучили организм к спокойствию перед дорогой. В мыслях Андрей десятки раз прокручивал километры и время. Сопоставлял шансы на удачно пойманную попутную машину, а главное: волновала его погода, которая будет на Эньльчеке. Там она могла меняться по несколько раз в день: от палящего, всё сжигающего солнечного ультрафиолета, до внезапно налетевшей пурги с колочим снегом и холодом.

Николай спокойно сопел рядом. Крутов всегда удивлялся способности друга засыпать мгновенно в любых условиях и положении. Видно природой дано каждому человеку по таланту, как в данном случае: ему быть художником, а Николаю – уснуть, когда захочешь.

Город спал. В тишине не шевелились даже листья. Птицы предпочитали ночевать за городом, и поэтому на улицах не было слышно их утреннего гомона. Только на шоссе, выходящем из города, было шумно. Улица, обрамлённая тополями, выплёвывала машины, спешащие за световой день покрыть наибольшее расстояние.

Им повезло сразу. Они не успели поднять рук, как около них остановился тяжелый Камаз и водитель прокричал через окно, даже не спрашивая их намерений:

– Садитесь. Скоротаем путь вместе.

Это была не такая уж редкая удача, когда водители сами останавливались и предлагали подвезти. Преимущество попутных машин оценено давно – это и комфорт, и скорость, и экономия, так как не все шофера брали деньги за проезд.

Мелькали столбы, дорожные знаки, деревья, кусты и люди. С левой стороны река, с очень коротким именем – Чу, неслась в

бурунах и пене. Справа, параллельно автодороге, тянулась железнодорожная колея. На просторе долины она смотрелась привычным пейзажем, но когда въехали в ущелье, было чему удивиться: как это можно «всунуть» в узость горной щели железнодорожную ветку с её строгими нормами? Человеческие возможности не ограничены.

Андрей всегда восторгался запредельными возможностями человека и верил, что при желании можно совершить такой поступок, в осуществление которого трудно поверить, пока его не сотворишь. Как в данной ситуации – написать картину в течение шести суток, да ещё с поездкой за 500 километров в поисках фона и того, что приведет главного героя в надлежащий вид. Ситуация была сложной и зависела от многих случайных факторов, которые не зависели от них – скорость передвижения и погода на месте.

– Слишком легко даётся нам дорога, – сказал Николай, – как бы на обратном пути не застрять. Не бывает в таких делах, чтобы всё складывалось удачно.

– Почему не бывает. Если мы хотим удачи, почему бы ей не сопутствовать нам? Человек сам должен добывать себе и удачу, и любовь, и счастье. Ведь ещё Козьма Прутков сказал: «Хочешь быть счастливым – будь им». Всё в этом мире просто – только нужно очень желать и всё свершится так, как хочешь ты.

– Не скажи. Вот я хотел жениться на Женьке, очень хотел. Она поставила условие «Или горы, или я». Я выбрал горы.

– В твоём случае присутствует «третье лицо» – это горы, которые тебе дороже Женьки. А если бы она тебя по-настоящему любила – должна была любить всё, что нравится тебе. Ты правильно поступил. Вспомни, как Лёва от «своей» сбегает: спускает рюкзак на репшнуре⁶ с шестого этажа, берёт мусорное ведро и со словами «я вынесу мусор» – исчезает в маршрут на месяц. Ты так хотел?

– Не хотел. Я люблю свободное передвижение по жизни и чтобы мне никто не мешал. А насчёт счастья, так это сказал маленький мальчик: «Счастье – это когда тебя понимают».

⁶ Репшнур – верёвка диаметром 4-8 мм, применяемая в альпинизме.

– Я с тобой солидарен. Но за собой нужно всегда иметь «надёжный тыл», где тебя ждут. Чтобы можно было вернуться, отогреться и «залить раны» для следующего броска.

Солнце царапнуло впереди лежащие горы, образовав в месте соприкосновения блестящую мешанину из белого огня, будто соединившись с землей электрической дугой. Яркий ломаный зигзаг оконтурил излом хребта, прочертив границу между посиневшей зеленью и начинающим сереть небом. С него словно утекал свет в неведомую глубь космоса, чтобы засветлить земной шар с другой, уже невидимой стороны.

В посёлок Кок-Кия, где жил знакомый егерь, въехали ночью. Несколько глинобитных домов, заблудившихся среди зарослей облепихи и барбариса, были полностью зависимы от жены егеря Алымкула – Айгуль. Эта розовощёкая, луноликая красавица-киргизка была продавцом магазина, где продавалось всё необходимое: гвозди, хлеб и водка.

Несмотря на неожиданный и поздний приезд, Алымкул страшно обрадовался и, подхватив рюкзаки друзей, пригласил всех в дом. Водитель наотрез отказался от вознаграждения и спешно, «рванул по газам». Когда Алымкул вернулся и увидел удаляющуюся машину, начал причитать: «Ай-я-ай, как можно уехать, не зайти в дом и не отведать хлеба».

В доме егеря была специальная комната для гостей. Окна выходили к склону горы, и под её мутными стёклами трепыхались ободранные ветки елей.

Даже страшное «табу» - не пить перед восхождением – было проигнорировано, когда Айгуль принесла дымящийся бешбармак⁷, от запаха которого раздирало ноздри и сердце куда-то уходило, оставляя своё место для желудка. Следом за ней входил егерь с водкой. Он нёс её столько, сколько уместилось в двух руках. Николай застонал, а Андрей всхлипнул обреченно, он знал: отказываться нельзя и бесполезно. Осовремененный обычный требовал жертв.

Уже к полуночи опьяневший Алымкул в десятый раз рассказывал о последнем убитом им донгузе⁸, за мясо которого ему

⁷ Бешбармак – национальное киргизское блюдо. Готовиться из свежей баранины и самодельной лапши.

⁸ Донгуз – дикий кабан, вепрь.

дали пачку пороха и старый аккумулятор. Из свинцовых пластин он отольёт пули для своего ружья 32 калибра. Зарядит патроны и убьёт кабана и опять ему дадут пачку пороха и старый аккумулятор. ...

Заглянула Айгуль. Уважая законы гостеприимства, пыталась увести мужа, увещевая его, что гостям нужно отдыхать с дороги. Но Алымкул был непреклонен и в одиннадцатый раз начал рассказ.

Веки уже не закрывались, а падали под тяжестью ресниц. Андрей подливал водку егерю стакан за стаканом. Тот выпивал и начинал рассказ о донгузе. Крутов наливал вновь. Метод измора помог. Тяжелая голова упала на грудь, калпак⁹ свалился с головы, Алымкула повело в сторону и он завалился на бок. С помощью Айгуль тяжелое тело было перемещено в кровать к жене, а Николай с Андреем, едва раздевшись и расстелив спальные мешки, не влезая в них, провалились в усталое и пустое небытие, без сновидений и покоя. Каждый в своё.

За высокими зубцами хребта Терской не было намёка на восход. В небе ещё не прорывалась прозрачность, когда Андрей вышел на улицу. Зябкое и росное утро цепляло прохладой за тёплую кожу. Среди окружающей дремоты шумел говорливый ручей. Несколько горстей студеной воды, вылитые на похмельную голову, отрезвили мозг. Крутов посмотрел на чернеющий впереди перевал Чон-Ашу. Как их встретит Эныльчек? Чем? Там ведь свои законы у природы. Свой климат и свой взгляд на пришедших: как встретить и как проводить.

– Вставай мой друг, нас ждут великие дела! – словами воспитателя Наполеона поднимал Андрей Николая.

– По мне, кажется, ездили танки, я раздавлен вчерашним.

– Ты раздавлен сегодняшним, а вчера ты готов был идти в ночь. Помнишь?

– Я отчётливо помню, что было со мной десять лет назад, но не в силах вспомнить, что было вчера, – Николай вскочил со спальника и побежал к ручью.

⁹ Калпак – киргизский национальный головной убор.

Стараясь не шуметь, чтобы не разбудить хозяев, путники тихо-тихо покинули дом. Дорога, отдохнувшая за ночь, лежала мокрым утоптаным ковром на горбу хребта. Несмотря на высокогорье и крутой подъем, дышалось легко. Привычка, выработанная годами, помогла выбрать нужный темп – вдох и выдох через одинаковое количество шагов, примерно одинаковой длины. Ровное дыхание.

– На подъёме машины не остановятся. Придётся идти пешком до перевала. Будем «резать» серпантины, пойдём в лоб, – сказал Андрей.

Извилистая трасса смотрелась на склоне горы, словно изгибы кнута табунщика, занесённого над спиной упрямого буйвола, кожа которого была покрыта плешинами лишаёв и морщинами старческих трещин.

Дорога, измотанная колёсами машин, резкими сменами ночных и дневных температур, стужей и зноем, шквальными дождями, несущими пенную воду со склонов и выклиниванием грунтовых вод с откосов, уныло ползла вверх почти к четырёхкилометровой отметке перевала Чон-Ашу. Ломаные серпантины крутили машины, и их зад вихлял, словно круп у бегущей беременной коровы.

Уже с середины пути показалась синяя табличка с указанием перевала «Чон-Ашу». Она была наклонена в сторону осыпи, словно левый её столб, скрюченный от холода ревматической болью, старался поглубже спрятаться в щебень, ища там теплоту земли.

– Потеряли два часа, но выиграли больше. Нас обогнали всего две машины и обе были заняты пассажирами. Попробуем удачи на перевале, – произнёс Андрей, стараясь словами попасть в такт шагам, чтобы не сбить дыхание, – на самой вершине водители останавливаются, чтобы проверить тормоза перед спуском.

С наветренной стороны над обрывом, были надуты козырьки снега, которые спрессовались высотным холодом и торчали, словно вылепленные старательным скульптором.

На перевале лежал снег. Грязь, приносимая машинами, въедалась в него и было непонятно: выпал он недавно или остался с прошлого года?

Сатанел ветер. Он нес со стороны хребта Сары-Джаз ледяное крошево, которое улетало вниз для того, чтобы растаять и испариться.

– Нежелательный признак,- произнёс Андрей, - ветер тяжелый.

– Если при ветре будет ещё и солнце – лучшего желать не надо. Лицо обгорит и потрескается за день. Эффект будет ошеломляющий, зритель будет в восторге, если ты правдиво передашь всю прелесть моей боли, - усмехнулся Николай. - А, может быть, здесь позагораем? Высота как-никак почти четыре тысячи, а если заберёмся повыше и Хан¹⁰ можно увидеть.

– Здесь воздух грязный, не пропечёт, а такой Хан, который видится отсюда, изображать нужно только на спичечных этикетках, - ответил Андрей, сбивая тем самым желание друга скоротать время.

Сквозь ветер послышался «жалующийся стон»: машины перед перевалом обиженно завывали, захлёбываясь безвоздушьем и крутизной подъёма, - будто альпинист, делающий последние, дающиеся в муках шаги к высшей точке вершины. На перевал выползла, окутанная белым облаком, машина. Капот был приподнят, и из радиатора, через открытую пробку валил пар. Водитель, высунувшись из бокового окна, выруливал к обочине, стараясь сквозь белесую завесу высмотреть место для парковки.

– У-у-уф, зараза, дотянула, - прохрипел он. Соскочил с подножки и обратился, улыбаясь, к друзьям: «Привет! Меня ждёте?»

– Если в Кок-Суу, то тебя, - ответил Андрей, будто действительно ждал именно эту машину.

– Так я сразу понял, что вам к переправе. Продукты развожу. У Айгуль я уже разгрузился. А вы, небось, в их доме ночевали? Подождали бы и не тёрли бы ноги. Сейчас эта колымага остынет и поедем. Подброшу. Я в магазин, в Кок-Суу, к Розе. Нам по пути, – скороговоркой, комкая предложения, проговорил водитель.

В посёлке Кок-Суу машина остановилась у магазина, похожего скорее на загон для скота, чем на торговую точку. Внутри,

¹⁰ Хан – сокращенное название пика Хан-Тенгри, принятое у альпинистов.

за прилавком, стояла величественная, высокорослая, сбитая словно из охристой глины, статуеподобная, косоокая, грудастая киргизка. Она чем-то напоминала жену Алымкула и кустодиевскую купчиху одновременно, или в этих краях все продавцы подгонялись под естественную среду – были женщины могучими и красивыми.

Увидев друзей, она проворковала вкрадчиво-весёлым голоском:

– О, ребятки! Помогите разгрузить машину. Недолго.

– Потеряем время, но отказывать нельзя. Не по местному обычаю получится, не по-людски.

Целый час, втроём с шофёром, перетаскивали из высокого кузова: мешки с мукой, коробки с макаронами и чаем, ящики с водкой и гвоздями, мотки верёвок, вёдра и тазики, рулоны ткани и почему-то четыре дефицитных японских зонта.

– Опять водки мало. Ведь скоро альпиниада, понаедет спортсменов тьма, за один день выпьют, - сокрушалась продавец, вздыхая «геркулесовым» телом и делая последние пометки в накладных о получении товара.

– Всё! Счастливо оставаться. Николай, вперёд, - заторопился Андрей.

– Стоп, стоп, ребятки, – продавщица впорхнула в магазин и вынесла две бутылки водки, зажатые словно спичинки, в породистых литых руках, -это за работу.

– Спасибо, - ответил Андрей, - но мы не спортсмены, поэтому и не пьём. И очень спешим. А если настаиваете, мы заберём вознаграждение на обратном пути.

– Хорошо. Я буду ждать, - игриво произнесла «купчиха», - если будет закрыто, стучите в окно в любое время, - она указала на дом, стоящий напротив магазина.

– Андрей, если бы тебя ждала такая женщина в городе, ты бы как возвращался к ней? – с иронией спросил Николай, когда они отошли от магазина.

– Не глупи. Для кого-то и она любимая. Запомни, мой друг, в мире всё, что создано природой – прекрасно. Человек же не способен создать что-либо красивее и прекраснее самого себя. Умнее – может, но прекраснее нет. В искусстве: от античных скульптур до абстракции Пикассо и пейзажей Левитана – это только

подобие, чем можно любоваться и восхищаться. Изумляться совершенством человеческой красоты – превыше всех восторгов и любований. А найти что-то более непохожее на то, что есть у тебя, это удел немногих.

– Ну, тебя понесло, - остановил философские размышления Андрея Николай.

– Мужики, а Вам же до переправы? Может, подбросить? – неожиданно спросил водитель.

– Господи, да ты, наверное, ангелом-хранителем работаешь? Нам до поворота на Тюз. Всего километров двенадцать отсюда.

– Знаю. Садитесь.

Друзья вновь втиснулись в кабину.

– Ещё два часа выиграла, – произнёс Андрей, когда машина остановилась на обрывистом берегу реки.

– Много я вашего «брата» сюда подбрасывал. Рисковые вы, пацаны. Уважаю! – крикнул водитель, разворачивая машину, - возвращайтесь.

– Да куда мы денемся, вернёмся, - пробурчал Николай, надевая рюкзак, - кто сильно хочет вернуться – возвращается.

– Через эту реку «туда» переходило больше людей, чем вернулись «обратно», - сказал Андрей, поворачивая голову в сторону беснующегося потока, - а вернуться, хотели все. Так что ты не прав.

Солнце, не встречающее преград в небе, начало жечь кожу.

Ещё не усталые. Бодрые. Более, чем самоуверенные, опытные и осторожные, спаянные духовно более, чем «однойцевые близнецы», альпинисты пошли вперёд. Здесь уже не было слесаря Николая и художника Андрея – была «связка» - два человека, связанных одной целью, одной дорогой и единой судьбой. Опасностей впереди не предвиделось, не считая переправы по ещё малой воде через реку Сары-Джаз. Протопанная тропа всегда менее опасна, чем та, которую приходится торить самому.

Вот уже впереди встала громада морены, подталкиваемая ледником Южный Эныльчек. В нижней части ледниковый язык был покрыт налётом из камней и земли, на котором росли эдельвейсы и редкая - рихтерия¹¹.

¹¹ Рихтерия – или эдельвейсовая ромашка. Растёт на высотах от 3000 до 4000 метров.

Зеленовато-серая поверхность ледника упиралась в нагромождение скальных обломков, за тысячелетия собранных с хребтов Сары-Джаз и Тенгир-Тоо. Сверху нависали пласты льда, чистого и древнего, в котором можно, наверное, отыскать перья первых птиц из Юрского периода или клочок шерсти неандертальца, занесенную шальными ветрами Палеолита. Ледник Эныльчек лежал распластанной шкурой гигантского альбиноса, сквозь которую, словно мускулы, выпирали втаявшие глыбы загорелого камня.

Впереди возвышался пик Хан-Тенгри – почти правильная пирамида. От идеальной геометрической формы её отличали две серповидные впадины Мраморного ребра.

– Я бы прямо сейчас побежал на вершину, - сказал Николай.

– Ну, ты говоришь, словно последний профан: «Побежал!»... Побеги. Я посмотрю, через сколько прыжков ты свалишься, околочуренный.

– Что, прикопался? Я ведь образно сказал.

– Хорошо. «Откапываюсь» от тебя. Здесь, кстати, самое горячее солнце, - ответил Андрей, - так что сгорай. Нам повезло с погодой. Пока всё в нашу пользу.

Тропа была протоптана основательно тысячами ботинок. Она вела к озеру Мерцбахера – самому загадочному озеру планеты. Так считали все, побывавшие на нем и видевшие его айсберги и необъяснимые прорывы.

– Этот маршрут однажды проходил большой художник. Последний раз проходил. В одну сторону. Он очень хотел вернуться. Помнишь Афанасия Шубина¹²? – спросил Андрей.

– Такие люди не забываются. Сильный был. Человечище. А маленькое сердце не выдержало.

– Оно у него разорвалось от восторга. Потому что вся эта красота, - Андрей указал на вырастающий впереди пик Петровского, - хотела уместиться в нем, но не поместилось и сердце лопнуло. Художникам опасно окунаться в такие красоты – можно умереть.

¹² Шубин Афанасий – род. В 1928 году. Художник-альпинист. Умер перед восхождением на пик Хан-Тенгри в 1967 году.

Тропа шла по склону. С правой стороны на четырёхкилометровую даль простирался ледник. Впереди, разделяя глетчер на два рукава, высился хребет Тенгир-Тоо.

Вечерело. Солнце завалилось за видимую грань излома хребта и, вытянув его тень, накрыла ледник, придав ему ультрамариновую стылую синеву. Безбрежная ледовая пустыня стала походить на застывшую реку, истоком которой служило небо. Вместе с сумраком полз холод. Он как-то сразу, резко вырвался из внутренностей многосотметровой толщи льда и заполнил ущелье густым ознобом. Ещё не остывшее тепло дня мешалось с прохладными вертикальными потоками, что и создавало вихри, которые, не найдя ещё единого направления, гуляли хаотично.

Но вскоре напористый шквал, густой, как гуталин, и холодный, словно вечный лед, ринулся вниз, высасывая из щелей и ниш последние остатки затаившейся теплоты.

– Дальше идти нет смысла. Ночуем, - произнёс Андрей, устало снимая рюкзак, - до озера отсюда километров пять. Завтра до восхода солнца, успеем.

Развернув спальные мешки и даже не поужинав, друзья провалились в сны. Их не волновало, что за долгую ночь погода может измениться и утро они могут встретить в снеговом плену.

Не видели они, как из-за хребта выползла огромная луна, окруженная ореолом. Кратеры на ней были такой же черноты, как и небо, и казалась она дырявой. Над пиком Хан-Тенгри появилась радуга. Самая настоящая ночная радуга. Видеть эту красоту выпадает немногим и их стало меньше ещё на два человека, так как Андрей и Николай спали беспробудно.

– Проспали, - закричал Андрей, едва открыв глаза.

Вокруг стояло прозрачное утро, сдобренное лёгким сумраком.

– Что панику наводишь. Только пять утра, - проворчал Николай, посмотрев на часы.

– Всё равно проспали. Сейчас выходить надо, а мы ещё лежим.

– А есть ли смысл идти до озера? – спросил Николай, - и отсюда вид на Хан прекрасный.

– Ты редко выдаёшь полезные мысли, но сейчас, я думаю,

что от тебя веет мудростью, - ответил Андрей, понимая правоту друга.

Крупный, ещё не жаркий, по-утреннему ласковый ломтик солнца выползал из-за серых пиков. Неосвященные ломаные струи снегов, сползающие с хребта Сары-Джаз, были ещё темны и терялись в яркости восхода.

Но вот солнце выпрыгнуло за золотую кайму, и огненный шлейф могучего жара через гигантскую лупу чистейшего воздуха лёг на взъерошенную поверхность глетчера. Словно блики электродуги блистали тысячами фейерверков отражения от хрусталиков льда. Глазные яблоки болели и слезились, кожу ласкал безжалостный ультрафиолет. Его приятность была жестокой: кровь под кожей словно закипала и надувалась пузырьками.

– Ты, почаще, облизывай губы и смачивай лицо. Быстрее пойдет ожоговый процесс и кожа треснет раньше, - издевался Андрей над Николаем.

– Очки все-таки надо было взять. Ослепнем, - огрызнулся Николай.

– Мне не нужны белые нимбы вокруг твоих радостных глаз. Ты зажмурься и лежи перпендикулярно солнцу, а я напишу парочку этюдов.

Два этюда маслом с видом Хан-Тенгри и несколько карандашных набросков Николая в разных ракурсах Андрей сделал быстро. Он считал, что этого достаточно, если учесть, что в мастерской хранилось немало рисунков этих мест. Из них можно будет скомпоновать картину и показать чистоту Эныльчека, мощь ледника, неповторимость высокогорного озера. Но в картине не покажешь, как это озеро однажды (обычно в августе) начинает бунтовать, словно производит кровопускание от застойной болезни, рвет ледовые оковы, кашлем прорывает брешь где-то в глубинах глетчера и истекает сгустками льда в русло реки Сары-Джаз, обнажаясь до дна, будто раздеваясь перед брачным ложем надвигающейся зимы.

Это был, конечно, сумасбродный поступок двух опытных альпинистов – пойти «просто так», ради «опаления» лица и пары этюдов. В то время, как некоторые годами мечтают – «краем гла-

за» увидеть айсберги Мерцбахера, пройтись по одному из величайших ледников Средней Азии – Эныльчеку. И увидеть (да, хотя бы увидеть!) высочайшую вершину страны – Победу. Такого эксперимента не встречал, наверное, за своё вечное существование грациозный Властелин Духов – Хан-Тенгри.

– К вечеру ощутим первые признаки того, к чему стремились, – подумал Андрей, складывая этюдник. – Страдать придётся обоим.

Кожу уже начало саднить – значит, загар удался. Завтра она почернеет, станет трескаться, а через день будет отваливаться шматами. Вот тогда и созреет образ Николая для картины.

Андрей считал дни. Писать придётся сутками, прихватывая ночи, иначе не успеть.

Круто спешил, но день кончился быстро. Молчаливая темнота набросилась сразу, не предупреждая: вязкая, безлунная. Только свет – сконденсированный в леднике, могильно освещал путь.

Нужно было уходить. И ожидание чего-то необычного вдруг стало явью. Хан-Тенгри начал излучать свет. Казалось, что под прозрачным колпаком гигантской горы зажглась маленькая лампочка, мощности которой хватало лишь для матового осветления огромного купола, чтобы отличить его от сплошного чёрного неба. Янтарной нежностью светились грани Мраморного ребра, будто миллиарды светлячков выползли на гребень и усилили неземную красоту вечного Тянь-Шаня.

Путники шли и оглядывались до тех пор, пока ночь окончательно не скрыла белый лоскут клина Великой горы.

Небо было без дна. Сухое, черное.

Болели лица, а на душе было покойно и чисто.

Андрей шёл впереди, интуитивно чувствуя тропу, которая вышла на каменистый склон и стала спускаться к реке Тюз. Было слышно мурлыканье воды, которое баюкало уже спящие горы.

– Выспемся в машине, – сказал Андрей, – нам нужно не поспать ещё часов десять. Выдержишь?

– Я, конечно, не прочь завалиться сейчас, но если надо – можно и не поспать. Не впервой мучить себя надежной на крепкий сон.

К рассвету подошли к реке Сары-Джаз. В щели было ещё темно, но небо уже светлело. Где-то далеко, за толстой громадой

скального хребта вставало солнце. Ещё не видимое, но подающее послание вертикальным столбом света, который втыкался в ещё серое небо.

Подойдя к воде, разулись. Уставшие ноги, коснувшись ледовой воды, сразу взбодрились: кровь, словно ожегшись, отхлынула к паху. Бесчувственные ступни, ощупывая каменистое дно, будто сами по себе побрели через двадцатиметровый поток по ещё малой утренней воде.

До посёлка Кок-суу оставалось два часа пути, когда, разбрызгивая ещё негорячие лучи, из-за хребта выскочило солнце. Запах разнотравья задурманил полусонную голову.

Разбитая гравийная дорога, больше утоптанная ботинками альпинистов, чем протекторами машин, шла по краю обрыва. Внизу, на глубине, бесновалась река Сары-Джаз.

Посёлок Кок-суу просыпался, косые лучи солнца скользили по крышам домов. Дымили глиняные печки летних кухонь. Женщины выгоняли выдоенных коров на улицу. Пыль смешивалась с дымом очагов и поднималась над проснувшимися крышами. Блеяли овцы и мычали коровы – сбивались в стадо. Пастух – парень лет двадцати – увидев путников, лихо продемонстрировал виртуозное владение бичем. Он размахнулся от плеча – кнут вытянулся струной на двухметровую длину. Резкий рывок и щелчок хвостиком прозвучал выстрелом. Вздрогнули овцы. Коровы покосились на вожака девичьими глазами и продолжали жевать травянистую снедь.

– Будем заходить к нашей «луноликой»? – спросил Николай.

– Зайдем. Попьем чаю. Взбодримся. А не зайти нельзя, не по обычаю получится.

Андрей даже не успел стукнуть в ворота, как выпорхнула их старая знакомая. От недавнего пробуждения она, несмотря на мужеподобную форму, была красива своей пышностью и какой-то властной и обольстительной прелестью.

– О, ребятаки! – прощebetала она грудным приятным голосом, – заходите пить чай. Я ждала вас.

Дом, нечета магазину, был ухожен. Редкий в этих краях палисадник, украшенный рядами красных и белых роз, гармонировал с блёсками битого стекла на розовой штукатурке жилища.

Деревянные ступени, выскобленные до белизны, вели в широкую комнату, где по киргизскому обычаю лежала кошма. В углу, стоя на полу, кипел самовар. Хозяйка засуетилась: принесла низенький столик и поставила посередине комнаты, затем внесла четыре низенькие скамеечки, качавшиеся спичечными коробками в её могучих руках.

– А почему четыре скамейки? – спросил Николай Андрея так, чтобы не слышала хозяйка.

– А вдруг ещё гость придёт.

На столе мгновенно появилась белая скатерть, мясо, конфеты, водка, превратив столешницу в гостеприимный досторхон¹³.

– Что? Будем? – Николай посмотрел на Андрея и указал взглядом на бутылки.

– Откажемся, обидим хозяйку. То, что поставлено на столе, по обычаю должно быть опробовано.

– Ну что, гости дорогие. Наливайте, пейте, угощайтесь. Мы ведь даже не познакомились. Меня зовут Роза, - хозяйка легко порхала вокруг столика, пододвигая яства гостям.

– Андрей.

– Николай.

– А что вы так рано вернулись? А обгорели, будто неделю были на Эныльчеке. И словно в разных местах. Николай обгорел сильнее, - сказала хозяйка и добавила, - я сейчас сметаны принесу, помажетесь, быстро пройдёт и кожа слазить не будет.

– Нет! Нет! – Андрей даже вскочил со скамейки, - не беспокойся, мы специально ходили позагорать.

– Это из столицы, за пятьсот километров, на два дня, чтобы позагорать? – удивилась Роза. - Да вы не загорели, а сгорели.

– Нам это и нужно.

Андрей хотел сказать, что это нужно для портрета, но тут же одумался. Ведь сразу будет просьба – нарисовать. А отказать нельзя. Большая потеря времени. И он промолчал, пусть спишет всё на прихотливость «этаких чудаков-альпинистов».

– Не понимаю я вас. Давайте лучше выпьем за возвращение.

¹³ Досторхон – скатерть. Здесь подразумевается весь стол с находящимися на нем продуктами.

Андрей откупорил бутылку, разлил по пиалам.

– Роза, извини, но у нас мало времени. Мы сегодня, крайний срок – завтра утром, должны быть в городе. За твоё здоровье. За твой гостеприимный дом.

Было видно, что хозяйке хочется поговорить, пообщаться. Но гость всегда прав!

Выпив ещё по одному разу и слегка перекусив, друзья собирались. Роза завернула им на дорогу мяса с лепёшками и вложила в руки Андрея две бутылки водки.

– Зачем? – чуть даже испуганно вскрикнул художник.

– Это Ваше. Зайдёте к Алымкулу с Айгуль. Передадите привет и эти подарки, – она принесла ещё один мешок с гостинцами.

Это был невероятно лишний груз, но в горах так принято: передавать через попутчиков посылки и приветы. Отказываться нельзя.

Выйдя во двор, друзья увидели, что от ясного дня остались только воспоминания. Клокастые тучи стекали с хребта и опускались настолько низко, что царапали своим жестяным цветом коньки крыш. Уже знакомый пастушок гнал обратно ненасытившееся стадо. Он пропеллером вертел над головой кнут, который свистел словно вертолётная лопасть в густом мокром воздухе. Но животные, предчувствуя ненастье, без понуканий спешили к своим тёплым кошарам.

– Переждите непогоду, – Роза всё ещё надеялась остановить путников, – сейчас хлынет дождь.

– Нет! – отрезал Андрей. – Вперёд!

Тучи, нагруженные влагой, уже лохматились у самой земли, пряча в свои объятия окрестность. Дорога едва просматривалась. Шли словно в светлой линзе диаметром в двадцать метров, которую обжимали стенки туманной непроглядности.

Закапал дождь. Вначале крупные редкие капли упали мокрыми кляксами в дорожную пыль, но вскоре шквал струй, упругих и ровных, словно гитарные струны, начал бить в лицо. Рюкзаки стали наливаться тяжестью, будто с каждым шагом в них падала свинцовая гиря.

– Скоро будет мост, – сказал Андрей, – под ним переждём.

– Я полагаю, но согласишься ли ты со мной, что переждать холодный ливень в уютном сухом доме с рюмкой водки и в об-

ществе приятной женщины, лучше, чем под грязным мостом? – ехидно заметил Николай.

– Разделяю твою догадливую мысль, но расслабляться нам нельзя. Грязный мост придаст нам прыти, – ответил Андрей.

Перилла моста появились внезапно. По скользким камням спустились вниз. Речка набухла, но около береговой опоры оставался сухой островок. Он весь был загажен засохшей кровью, жировой слизью и кусками шерсти. Сверху, с мостового пролёта, свисали два куска проволоки с петлями на концах.

– Что это? – спросил Николай.

– Скотину свежую и скорее всего не свою. Подвесил ноги на проволоку, сдернул шкуру, требуху в речку и туша мяса готова. У местных это не принято. Баранов и коров разделявают только на земле. «Нечистое» это место.

– Разумеется, «нечистое». И пахнет смрадом, – Николай предал слову «нечистое» – прямое значение.

Вода в реке цвета зачернённой охры урчала. Было слышно, как по дну глухо стучали камни, сорванные с берегов или сдвинутые со дна, где они, может быть, лежали тысячи лет без движения и теперь неслись в неизвестность взмыленным, взбесившимся потоком. Прозрачные струи падали в рвущуюся на ключья поверхность воды и пропадали в коричневой жиже.

Разговаривать не хотелось. Андрей переживал о потерянном времени, а Николай сидел на корточках, уперев ноги станкового рюкзака в землю, нахохлился и вспоминал, наверное, низенький стульчик в доме Розы.

Ливень кончился мгновенно, будто захлопнулась крышка гигантского дуршлага.

– Вперёд! – скомандовал Крутов.

Дождь освежил пыльную дорогу. Туман скомкался и упал куда-то на дно ущелья. Река зарыла его в себя, а осветлённое, ещё влажное бесконечное небо зарадовало глаза. Шагалось легко. Ставшее жарким солнце выдавливало пар с окрестностей. Намокшие рюкзаки быстро освободились от сырости – полегчали. Километры накручивались на спидометры мышц.

Попутных машин не попадалось. Семь часов непрерывного подъёма вымотали путников. Уже перед выходом на перевал Чон-

Ашу подвывающий МАЗ нагнал путников. На взмах руки водитель указал рукой вперед, давая понять, что на подъёме не останавившись, а подождёт на верхней точке.

– Давно идёте? – спросил он, когда друзья втиснулись в кабину.

– Сорок километров с утра отмахали, - ответил Андрей.

– Ого! Нет, я лучше геморрой буду зарабатывать, сидя в машине, но пешком меня не заставишь идти. Самое далекое расстояние, куда я хожу - это в «нужник», - усмехнулся шофёр, потряхивая голым, колыхающимся торсом. – Сейчас приеду в базу, пересяду на свой «жигулёнок», доеду до лифта, поднимусь в квартиру, схожу в ванну и – на диван: к пиву и «ящику». Буду смотреть всё подряд, соскучился. Целую неделю не смотрел телевизор. Тоска.

Андрей оглядел тучную фигуру водителя: огромный голый живот упирался в баранку, от чего на нём виднелся дугообразный чёрно - мозолистый сальный след, словно шрам от неудачного «хара-кири»¹⁴.

– Не понимаю я вас, туристов-альпинистов, - продолжал шофёр, улыбаясь губастым ртом, в углу которого тлела папироса, - какого чёрта таскаться за сотни километров, спать где придётся, мёрзнуть, сгорать, да ещё тратить на это деньги. Нет, до меня не доходит. Всю эту красоту можно в «Клубе кинопутешественников» посмотреть, потягивая пиво на диване.

Крутов в своей бродячей жизни встречал много непонимающих. Даже больше, чем понимающих. В бесполезные пререкания не вступал. Человек, видящий радость только в тарелке борща и наличии «ящика» перед глазами, не поймет и сотой доли щемящего чувства бродяжьего беспокойства.

– А далеко ехать – то? – спросил водитель, - я до столицы.

– Это удачно, конечно. Но нам нужно минут на пять в Кок-Кия заглянуть, передать кое-что, - ответил Андрей.

– Нет проблем. Не к Алымкулу случайно?

– К нему.

– Прекрасный человек. Я как-то зимой застрял перед перевалом. Он увидел. Приехал на лошади, привёз водки, чаю.

¹⁴ Хара-кири – ритуал самоубийства у японцев – вспарывание ножом живота ниже пупка.

Заставил спуститься и пожить у него, пока не доставили мне запасные части. В таких местах другим нельзя быть. Нужно помогать друг другу – тогда выживем. А по отдельности – гибель.

Остановившись у дома Алымкула, водитель посигналил. Хозяин вышел, заулыбался.

– О, сколько гостей! – было видно, что он искренне рад.

Айгуль, увидев гостей, закрыла магазин и поспешила к дому, не дожидаясь понуканий мужа.

Подкрепиться было в самый раз, тем более, что водитель не откажется от обеда. А час, потерянный на обед, окупится прямой дорогой в город.

Подарки от Розы дополнили богатый стол Алымкула, где высилась груда холодного мяса, айран, хлеб и неотъемлемая часть киргизского гостеприимства – боорсоки – кусочки теста, жареные в масле.

Пить алкоголь можно было вволю. Николай, выполнивший свой долг натурщика, легко опорожнял пиалки с водкой. Андрей старался пить через раз. Сегодня ночью он должен стать за мольберт – это он помнил. Оставалось трое суток. Сам он не мог ускорить время, но всё, как он прикидывал, шло на пользу. Машина, которая доезжает до города, была удачей: в выигрыше было часов пять.

Алымкул упрашивал водителя выпить водки и ехать завтра утром. Андрей боялся, что шофер согласится и поломает так удачно складывающийся график возвращения. Но всё обошлось – усталое тело водителя требовало ванны, глаза – телевизора, а глотка – пива. И это всё его ждало дома, до которого оставалось всего-то четыреста пятьдесят километров.

Айгуль всовывала узелки с гостинцами на дорогу. Алымкул разливал «на посошок», водитель прогревал двигатель.

Как берег от отчалившей лодки, удалился посёлок, скрылись верхушки елей, спрятались за поворот кусты облепихи и лоха, пропал дом вместе со взмахом руки Алымкула и спрятанные расстоянием шевеления губ со словами: «Ак жол!», что означало: «Светлой дороги!».

Осталась позади «гравийка». На большой трассе суматошные машины летели, держась колёсами за асфальт – будто спе-

шили успеть за последние летние месяцы намотать годовой пробег. Ведь по зиме на горных трассах пруть поубавится.

К городу подъехали за полночь. Опустелая столица была пронизана светящимися улицами, по которым негромко крались опоздавшие к ночлегу машины.

Как ни был вымотан шофер, но довёз приятелей до мастерской.

Николай обреченно махнул рукой: «Всё, я спать» и, расправив спальный мешок в углу, вытянул уставшее тело. Тихий сонный сап раздался через несколько секунд.

Андрей вытащил этюдник, расставил ещё сырые этюды и наброски на столе. Сел напротив чистого холста и начал компоновать картину. Резкими штрихами набросал передний план – фигуру сидящего Николая – и тонкими линиями дал задний фон – пирамиду Хан-Тенгри.

Посмотрев на лицо Николая и убедившись, что оно завтра будет готово к позированию, лег спать. Несмотря на боль, которая кололась под кожей и, словно просясь наружу, разрывала тонкую кожу лица, Андрей уснул быстро.

Сновидений не было. Четырёхсуточная усталость сковала тело и мозг. Только в глубине подсознания «трепыхалась» беспокойная мысль. Она даже в бесчувствии была объёмна и беспокойна: «Осталось трое суток! Не дней. Отсчет времени теперь пойдёт на круглосуточную работу».

Солнце уже прострелило пропыленными лучами мастерскую, когда Андрей открыл глаза и прокричал, словно сигнал к тревоге:

– Подъём! Нас ждут сверхвеликие дела. Время работает против нас.

Лицо стянуло, будто намазанное нитролаком. В том месте, где проходила граница бороды, наметилась темная трещина, которая нестерпимо чесалась.

– Я словно прожаренный на углях цыплёнок. Чувствую, как из-под моей потрескавшейся кожи сейчас закапает жир, – произнёс Николай.

– Если бы он у тебя был, то давно бы вытек, - отозвался Андрей, - давай пить кофе и к «станку». В позу, которую я тебе покажу, и до вечера, не шевелясь.

Этот приговор Николай выслушал и произнёс:

– С условием ящика пива.

– Тогда иди. Я пока приготовлю мольберт.

Кому было трудней, неизвестно: натурщику или художнику? Оба страдали одинаково – болели лица. Кожный покров почернел, покрылся трещинами, сквозь них сочилась розоватая сукровица.

Андрей накладывал мазки мастихином, лишь изредка прибегая к кисти, и то лишь для того, чтобы подработать детали. Главное: лицо, руки и рюкзак на переднем плане художник закончил к вечеру. Впереди оставалась ночь на выписывание заднего плана: уходящего вдаль мощного ледника, упирающегося в массив Тенгир-Тоо, венчал который неповторимый и сказочный Хан-Тенгри. Написанию вершины Андрей уделял большее внимание, чем лицу натурщика. Лицо что? Его можно сделать и не столь уж похожим на оригинал, лишь бы получился характер, а вот вершину не исказишь: увидевший её однажды не забудет её очертаний никогда. А главные критики – друзья-альпинисты – не простили бы неточностей и искажений.

Ни до, ни после этой работы, которую с самого начала художник назвал «Усталость», он не работал так скоро. А название произведения влило в себя и изображение на картине, и состояние самого художника – вымотавшего себя и натурщика до изнеможения за неделю создания полотна.

До выставки оставалось пятьдесят дней. Они оба устали, но сделали - невозможное. И теперь картина вдвойне оправдывалась – усталостью сделанная «Усталость».

В командировке, которая затянулась более, чем на месяц, Андрею ежедневно снилась первая выставка. Просыпался он с чувством ребёнка в преддверии Дня рождения – когда открываешь глаза, а стол завален подарками. Но «подарки» Андрея ждали нешуточные. Так просто, как он представлял, признание не приходит. Чтобы проснуться знаменитым, нужно не только обжечь

лицо, утомить ноги и устасть от бессонницы, а ещё быть обруганным, отвергнутым и непонятым.

Крутов вернулся в город ко времени отборочной комиссии.

Заведующая заводским клубом, где должна проходить выставка, Татьяна Васильевна Быкова - грамотная, искушенная в живописи женщина с восторгом приняла работу.

– Ну, Николай, ты будешь главным героем, - восторгалась она.

Картины ставились к стене по периметру фойе и спортивного зала, где в будние дни проходили тренировки гимнастов, занятия степом и бои боксёров. Работ набралось много. Это были в основном портреты тружеников: рабочих, колхозников. Было много пейзажей и натюрмортов. Написаны они были не очень профессионально, но виделась любовь и уважение самостоятельных художников к натуре. Работа Андрея выделялась своей неординарностью, какой-то «жуткой лентяйственностью»: на ней герой отдыхал.

Полотно называлось «Усталость». На переднем плане, среди втаивших в ледник обломков скал, сидел небритый парень. Измождённое лицо, чёрное от ожогов высокогорным солнцем было покрыто буграми волдырей и рваными бороздками, в глубине которых блестели яркими малиновыми точками капли застывшей крови. На воспалённых, потрескавшихся губах застыло каменное упрямство. Только утомлённые глаза светились молодым задором и победой. Почерневшие руки с верёвками вздутых вен свисали обессилено с колен, будто нет сил поднять их. Но именно в этой безжизненности и виделась их мосластая мощь. Рядом лежал рюкзак, из-под клапана которого остриём выпирали ледовые «кошки» и виднелось несколько витков цветного репшура. Ледоруб был брошен у носков растерзанных осыпями кирзовых сапог. За спиной, в солнечном блеске, виднелся пик Хан-Тенгри. Андрей специально изобразил грани Горы такими, какими увидел их в ночных сумерках после последнего ухода с ледника Эньльчек. И поэтому выпирала пирамида, она вылезла за писанные правила канонов «изображения перспектив». Но художник не мог спрятать её в туманную дымку, отдалить от героя, как сделал бы другой художник, который не касался холодных граней Мраморного ребра, не задыхался однажды на

подступе к наивысшей точке и не видел под собой землю такой, какую суждено видеть лишь летчикам и птицам.

Председателем отборочной комиссии был главный идеолог по культуре города – Зарталов. В синем костюме, белой рубашке и красном галстуке, узел которого прятался под свисающим потным подбородком, он проходил от картины к картине, читал название, фамилию автора и говорил своё слово. За ним гуськом шли члены комиссии: двое мужчин – представители Союза художников и Татьяна Васильевна. Они молча выслушивали вердикт. Один из мужчин что-то записывал в блокнот, остальные кивали в знак согласия с главным идеологом города.

Зарталов когда-то закончил сельскохозяйственный институт, но возня с животными, как ветеринару, ему быстро надоела. Благодаря тому, что он вовремя вступил в компартию, имел связи в высоких кругах и хорошо «подвешенный» язык, ему быстро удалось продвинуться из пахнущей карболкой, навозом и молоком ветлечебницы в белоснежные хоромы городской управы, где он стал отвечать за идеологическое состояние в городских учреждениях культуры.

Заказанные картины были выполнены точно по словесному описанию и в срок. Одна изображала корову Холмогорской породы на фоне импортного доильного аппарата с непомерно большим выменем и налитыми, торчащими сосками. Многие удивлялись – откуда художник взял натуру, если даже отечественные «доилки» были роскошью для колхозов. Вторая же картина, написанная довольно удачно и грамотно, показывала горное пастбище, где на фоне белых юрт бродили гладкие «кумысовые» кобылицы.

Около Андреевской работы Зарталов нахохлился. Комиссия ждала реплики председателя.

– Ха! Усталость! Автор – Крутов. Где он? – Зарталов завертел головой, ища автора, будто знал его в лицо.

– Здесь, - Крутов подошёл.

– И что же он совершил такое, что так устал?

– Покорил вершину. Вон она, сразу за его спиной. Хотя ведь это не главное, что он совершил, а главное – показана усталость. Здесь изображена не конкретная работа, которую он сделал, а

человеческое измождение, самоотдача делу – вещь, которая не материализуется.

– Что, что? – Зарталов будто впервые услышал это слово.

– Ну, «не материализуется» - это состояние, которое не поддается прямому изображению без участия человека или предмета. Например: страх, вкус, боль, любовь, тепло или как здесь – усталость.

– Чушь! – Зарталов вспылал. Ему, главному идеологу, какой-то художник, да ещё самоучка, будет что-то объяснять! – Почему бы тебе не изобразить механизатора на фоне трактора и всё стало бы понятно - человек ремонтировал сельхозтехнику и устал.

– Я глубоко уважаю этих тружеников, но я не специализируюсь на трактористах.

– Ха! Он не специализируется на трактористах? А на ком? Это же изображён какой-то бродяга. Даже обувь у него не соответствует канонам советской морали – что это за «рвань» у него на ногах? К выставке близко не подпускать, - отрезал Зарталов, я ещё в Союз художников позвоню.

– Да они не члены, - подсказал, «долговязый» из комиссии.

– Ха! Тем более. Убрать!

Андреевская «Усталость» оказалась единственной забракованной работой из более двухсот, представленных к выставке.

То, что выставка пройдёт без его работы, Андрей воспринял спокойно: «Не сейчас – значит, потом, но лучше бы, конечно, сейчас».

В клубе завода находились кружковые комнаты: рисования, вязания, пения, а так же была комната, где собирались альпинисты – их руководителем был Николай. Узнав о нависающей угрозе, он предложил простой и авантюрный вариант.

– У меня есть ключи от входной двери. Перед открытием, ночью, мы вывесим твою картину.

– Где? Места все распределены и расписаны.

– Повесим прямо против входа, на зеркало. В выставочных залах зеркал не должно быть – это не салон красоты. Выставочный зал – это красота в салоне.

– Ведь Зарталов поносом изойдёт.

– Будет поздно. Твоя картина будет висеть напротив двери

– она откроет выставку. Он хотя и сноб, но не дурак – шум сразу поднимать не будет – себе навредит. А зритель уже увидит твою работу. Всё остальное покажет время...

– Тебе влетит и Татьяне Васильевне не поздоровиться. Не простит «идеолог» непослушания.

– Непрошненным за благородный поступок – честь! Непростившему – народное презрение. Пусть будет так. На открытии чтобы не навредить Татьяне Васильевне, сразу скажу, что это я совершил непослушание.

– Пусть будет так, как хочешь ты, - у Андрея засветила манящая и единственная надежда, - раз начал ты хлебать эту кашу с выставкой – хлебай до конца. Будешь «посаженным отцом» моего первого вернисажа.

Вечером, предупредив охранника – вот, мол, забыли повесить - вошли в зал и прямо на зеркало, которое закрылось полностью, вывесили картину. Работа вписалась в общую гамму развешенных полотен. Вписалась, но не совсем. Было в ней нечто вылезавшее из общего настроения. Может быть, именно нечто и узрел глаз Зарталова.

Утром ждали скандала. Готовились к нему.

Непослушания Зарталов не прощал. Он мог тут же скомандовать: «Убрать!». Но идеолог был весьма неглуп. Если бы он поднял шум, упал бы его авторитет в глазах гостей, приглашенных к открытию – они ведь не знали, что он дал команду убрать эту картину, а знающие пусть думают, что идеолог смиловился.

Зарталов вопросительно взглянул на Татьяну Васильевну и тихо сказал: «Мы поговорим в другом месте».

Заведующая клубом стояла в недоумении, но была довольна: чего она хотела, свершилось без её участия. Посмотрела на Николая. Тот стоял в стороне и тыкал себя в грудь. Татьяна Васильевна улыбнулась краем губ и кивнула.

Зритель затекал в зал. Андрей наблюдал, как проходили мимо картин, будто вдоль белой стены, а около его работы словно спотыкались, прирастая взглядом.

Запомнились первые отзывы, которые Андрей изображав-

ший празднующего ценителя, невольно подслушал, стоя у своей работы..

– ... смотри, руки как выписаны – каждая жилка видна.

– ... какой усталый мужик. Будто с похмелья...

– ... а лицо обгорело как. Словно у мартена стоял.

– ... так это же Колька наш! Во, попал!

– ... смотри, цветочек. Эдельвейс, кажется. А почему его художник нарисовал здесь, внизу. Я читала, что они растут только на неприступных скалах.

– ... сапоги, глянь, как изодраны. Километров тыщу прошли, наверное... И почему альпинист – в сапогах? Непонятно.

Вмешивался Андрей: «Он, скорее всего по осыпям ходил, а они вмиг любую обувь в лохмотья превращают. А сапоги удобны тем, что если поверх голенищ опустить штанины - в них не набьётся снег. А в ботинки набирается и тает. Мокрая обувь – штука неприятная даже здесь, в городе, а там – это трагедия».

Он радовался, что его никто не знал. От этого можно было вступать в непринуждённые беседы – выведывать свои слабые стороны.

Подошли старые художники – Андрей их знал. Он продвинулся к ним поближе, напряг слух.

– А это что за автор – Крутов? Не слышал?

– Из самоучек. Видишь, задний план выпирает, ярко выписан. Нужно было туманчику подбавить – жиденькими белилами пройтись.

– Первый раз встречаю. Запомнился бы. Своеобразно. Ты его не знаешь? Познакомиться бы, подучить парня – далеко пойдёт.

– Нам бы академистов своих доучить, а ты за самоучек хочешь браться.

– Я за художника берусь. Найду и поборюсь за него.

Как Андрею хотелось шагнуть вперёд, ударить себя в грудь и сказать: «Это – я!», но понимал, что выпячиваться не стоит. Впереди была целая жизнь, которая расставит сама «всё» и «всех» по своим местам.

Скандал, который определил дальнейшую судьбу Андреевской картины, произошёл через день. В «Вечерней газете»

появился фельетон под названием «Бездельник на отдыхе». Чья это была идея – все поняли. Только «личный писатель» идеолога мог пойти на такой ядовитый пасквиль. У настоящего журналиста, единожды взглянувшего на картину, не опустилось бы перо на бумажный лист.

Фельетон был злой. Автор, скрывшийся под псевдонимом «Искусствовед», неплохо проштудировал книги по искусству. Манипулировал в тексте специальными терминами: мастихин, мазок, колорит, фон, передний план, задний план – он вставлял их где надо и не надо.

Главный удар был нанесён не самому художнику, а натурщику. «Искусствовед» обозвал его «праздношатающимся», когда «вся молодёжь стремиться на ударные стройки» - этот «бездельник» и «бродяга» таскается по «никому ненужным маршрутам».

Николай – токарь высшего разряда, фотография которого не снималась с «Доски почёта» завода, год назад получил высокое звание по альпинизму - «Снежный барс». Он скупил все газеты, что были в ближайшем киоске, вырезал фельетон, подписал в верхнем углу: «Про меня!» и вместе с фотографией картины дарил друзьям.

Андрея так же не смутила ядовитая и злопыхательская критика. Он был уверен, что благодаря фельетону вырастет его популярность как художника.

Картину убрали в этот же день, после закрытия входа для посетителей. Но Крутову хватило и этого одного дня, чтобы понять себя, как художника, со слов зрителей. Полотно Николай повесил в своём альпклубе. На него приходили смотреть молодые художники, заглядывали зрители. Иногда у картины собиралось альпинистов не меньше, чем молодой разношерстной публики. Андрея распирало от гордости. Он почти всегда, когда был в городе, присутствовал на сборах и мало кто знал, что он является автором нашумевшей работы, которая сплотила вокруг себя экстремалов, поэтов и художников. А в «Книге отзывов», что лежала в выставочном зале, стали появляться вопросительные строки: «Где «Усталость»?»

С той поры прошло более тридцати лет. Признание к Анд-

рею шло заслуженно и закономерно, но не сразу. У него копились: грамоты, дипломы, «Книги отзывов». Выставки устраивал часто: его приглашали кинотеатры, клубы, заводы, школы и даже больницы, пансионаты и детские сады. Появились свои почитатели, которые следили за творчеством и посещали каждую выставку. О нем часто писали газеты.

С Союзом художников постоянно возникали трения, так как Крутов о своих выставках договаривался непосредственно с руководителями предприятий, где собирался устроить выставку, не вводя в курс дела художников-профессионалов и идеологов города. Постепенно он заметил, что с годами уходило распирающее душу чувство от желания творить и стоять за мольбертом сутками, пьянеть от запаха красок, работать до изнеможения. В то время мысли бесновались в голове, и он мог их упорядочить и направить в нужное русло. Сейчас же Крутов не руководил мозговым хаосом, он ждал и верил в случай. Звонок Николая будто бы встряхнул его. Он понял – ему нужно менять обстановку. Его застоявшееся время – отсидка в склепе мастерской - не давала ему порыва.

И вдруг, вместе с трескотнёй телефонного звонка, голоса Николая, напоминания о первой выставке – остро кольнуло память – «Усталость»! Почему он не выставлял её все эти длинные годы? Почему предал забвению самую первую серьёзную работу, от которой начался новый отсчет в его жизни? В жизни, в которой укрепилась вера в том, что он стал художником. И со временем, с накоплением лет, художник стал побеждать увлечение альпинизмом – в горы он теперь ходил лишь писать этюды.

В период отсидок в городе вдруг наваливалась «тоска» и Андрей вытаскивал рюкзак, бросал рядом ботинки с триконями¹⁵, ледоруб, связку репшура с карабинами и крючьями. Садился у мольберта, но взгляд постоянно дежурил на рюкзаке. Так продолжалось несколько дней. Наступал час – и художник звонил близким людям и уезжал в места, где ещё не был. Доезжал на автобусе или попутке до окончания дорог и шёл дальше пешком.

¹⁵ Трикони – стальные зубчатые набойки на подошвах горных ботинок.

Не оставлял привычек, приобретённых от работы в экспедициях: забирался куда-нибудь в глушь, имея при себе минимум продуктов и этюдник. Палатку не брал, находил пещеру или просто углубление в скале и обустроивал его. Если не находилось подобное убежище, строил шалаш в густых зарослях – будто вращался в природу. Слушал шёпот леса и звериную жизнь. Ночью всё преображалось: шелестели мыши, твякали лисы, иногда могучие донгузы топали совсем рядом, пугая хрустом ломающихся веток. А то слышались предсмертные визги зайцев и пищух, неосторожно попавшихся на охоте более сильным.

В первые дни расставлял самодельные силки; если была рядом река – плёл «морды»; копал коптильни, при этом разведывал территорию и намечал наиболее достойные места для натур-ры будущих картин.

Неделю, а то и две работал над этюдами. После общего плана будущей картины постоянно выписывал отдельные детали: глыбы камней, скрюченные ветки и изможденные корни деревьев, листву, облака и воздух. Потом, уже в мастерской, компоновал сюжет, стараясь не отходить от оригинала пейзажа.

Но именно сейчас, когда нужно было работать и работать, какой то «чёрный вакуум» поселился в душе, не давая сосредоточиться и мыслить.

А почему бы не повторить пройденное? – подумалось ему. Ведь «Усталость» современные зрители и не помнят. И он проговорил в трубку: «Колька! Мне нужно забрать «Усталость». Подновить и выставить».

– Не дам! Она моя.

– Я же на время. Повисит на выставке и верну. Она, кстати, давно требует небольшой реставрации: ведь почти тридцать лет её коптели табаком, обливали шампанским и ставили на ней автографы. Их нужно смыть.

– Как это смыть? Ведь там подпись самого Левана Алибегашвили.

– Тем более, что моя подпись не имеет права стоять на одном уровне с автографом этого «Снежного барса» и кавалера ордена «Эдельвейс». Я не достоин, и поэтому свой автограф, как автор картины, я оставлю, а его имя придётся смыть.

– Сотри все, но Левана оставь! – Николаю не хотелось терять память о великом альпинисте, однажды посетившем их скромный клуб.

– А, знаешь, у меня есть идея, - сказал Николай.

– Излагай.

– Может быть, напишешь меня опять на том же месте, только согбенного, с палочкой, седого и лысого. Ехать на Эныльчек не надо. Фон спишешь с первой «Усталости», а «согбенный» и «старый» я попозирую тебе, только с условием ящика пива.

– Ты это придумал ради ящика пива? Сознавайся, - с усмешкой спросил Андрей.

– И не только. А картину назовёшь, ну, например, как сейчас модно – «Усталость – 2» и повесишь их рядом. Первая «Усталость» - это усталость после восхождения на вершину, а «Усталость – 2» - это невозможность подняться на вершину. Понял смысл?

– Понять-то понял. Только рано ещё такую картину писать, тем более показывать зрителю – это признание в бессилии, в беспомощности. Ты признаёшь себя слабым?

– Нет, конечно! Я даже сейчас готов идти на Хан-Тенгри.

– Подождём ещё лет двадцать. Вот тогда, может быть, и появится «Усталость – 2». А сейчас я хочу узнать - насколько продвинулся в мастерстве после первой выставки, будучи ещё «не художником». Поэтому и прошу подаренную тебе работу.

– Хорошо. Забирай.

На следующий день Андрей перенёс картину в мастерскую.

Автограф альпиниста стоял над авторской подписью и не перечёркивал важных деталей. Только размашистый росчерк задел цветок, подрезав его пополам черной полоской фломастера. «Пожалуй, Николай прав. Подпись нужно оставить».

Крутов вынул работу из рамы, которая также нуждалась в обновлении. Взял лупу и просмотрел всё полотно: кое-где холст покрылся мелкими трещинами – кракелюрами и появились фалды – небольшие волны, которые «куриными лапками» расходились от углов, будто старческие морщинки от уголков глаз. Пришлось идти в библиотеку и штудировать литературу по реставрации.

Процесс обновления так увлёк Андрея, что он работал будто над созданием нового полотна. К большому сожалению Николая, автограф Алибегашвили сохранить не удалось: при снятии загрязнений с полотна, краска фломастера легко растворилась и исчезла бесследно, как обычное грязевое пятно. Через семь дней реставрированная работа была вставлена в новую раму и выглядела, будто вчера написанная. Покрытая лаком она стала более объёмной, чем первоначально.

Выставка, как и десять лет назад, должна была проходить в драматическом театре. В отборочную комиссию входили только представители от Союза художников и директор театра.

Председатель комиссии – располневший от достатка и одобривший от славы – народный художник Тюрин Юрий Иванович грузно ходил вдоль расставленных полотен и повторял: «Добро, добро, добро...». Его массивное и тяжёлое тело двигалось под серым пиджаком в такт произнесённым оценкам.

Около картины «Усталость» он вдруг резко остановился, тело внутри пиджака двинулось по инерции, и было видно, как оно колыхнулось под рубашкой.

– Эту повесите у входа. Пусть открывает выставку. Добро. Тема очень актуальна для нашего времени, скоро все мы так сядем, «обезжизненные», спустившись с «Горы жизни». Добро...

Хотел Крутов или не хотел, но «День юбилея» наступил. Как всегда, по традиции, в гримёрке стоял ящик коньяка, который начал опорожняться ещё до открытия выставки.

– С юбилеем! - поднимали тосты охмелевшие старые альпинисты.

– За здоровье! - чокались друзья по экспедициям.

– Мно – огие ле – ета, - голосили художники.

Посередине разгула Андрей вышел в зал и стал ходить среди зрителей, вслушиваясь в разговоры. Эту привычку он никогда не бросал. Знал: лучший критик – это зритель, который критикует и не знает, что рядом стоит автор.

К картине «Усталость» подошли два мастера из «Союза художников». Они были намного моложе Андрея, и он не был личным знаком с ними.

– Смотрите, какая свежесть. Давно таких светлых и чистых

работ не видел, - сказал один, - только задний план выпирает. Туманчику бы подбавить – жиденькими белилами пройтись.

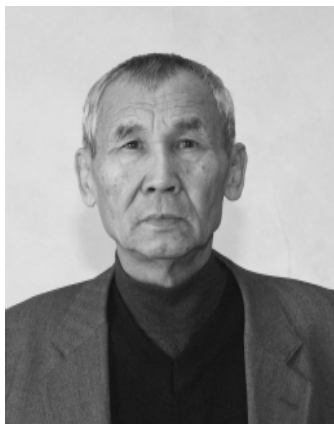
– Это специально так написано, чтобы всю красоту гор показать. Видишь, какой красивый излом у хребта и будто светлячки на самом гребне. Очень удачно подобраны и цвета, и композиция, и фон, и главное - как хорошо тема раскрыта – какая сила в этом обессиленном человеке!

– Да, кстати, а почему Крутов ещё не член Союза художников?

– Вначале не принимали из-за того, что у него нет специального художественного образования, а сейчас, когда нет никаких препонов для вступления он сам не хочет.

– Если бы им была написана только эта единственная работа, то он и тогда был бы достоин звания Большой художник.

Андрей стоял в стороне и усмехался. Единственное, о чём он жалел, что имя Левана Алибегашвили не стояло рядом с его автографом на картине.



Талип ИБРАИМОВ

ПОСЛЕДНЯЯ СТРЕЛА

Роман в новеллах

Первый влюбленный

Арабская и китайская хроники свидетельствуют: во второй половине десятого века в высокогорных долинах Тянь-Шаня появились кыргызы. Ещё недавно они были титульным этносом Великодержавия, которое раскинулось от Каспия до Китайской стены. Историки приводят десятки неотразимых доказательств того, почему рухнуло это самое Кыргызское Великодержавие. Ни в коей мере не бросая тень недоверия на авторитет учёных мужей, позволим себе смиренно изложить и свою версию: кыргызы, как дети к вожделенной игрушке, стремились к ощущению себя как великого народа, а потом, когда достали эту игрушку и всласть наигрались, им стало невыносимо скучно, и они, бросив на произвол судьбы империю, разбрелись по всему миру в поисках возвышенностей, чтобы быть поближе к звёздам.

Одним из таких мест оказался Тянь-Шань, куда откочевали три рода кыргызов. Каждый из этих трёх родов, оспаривая пальму первенства, вел свою родословную непосредственно от Солнца и с недоступной высоты презирал не свой род. Впрочем, это жгучее чувство не препятствовало совпадению по образу жизни и во всём остальном, вплоть до манеры чихания в простудные дни.

Старики, собравшись в круги и кружочки, целыми днями вели умные беседы.

– Небо – синее, – вдруг произносил кто-либо.

– Синее, – важно подтверждал другой.

Все остальные многозначительно кивали многомудрыми головами.

– Солнце – горячее...

– Горячее

Дружное покачиванье многомудрых голов.

– Вода холодная...

– Холодная... и вкусная...

– Мясо вкуснее...

Многомудрые головы сотрясались, бессильные перед неотразимым юмором. Вот так и сидели, мудрствуя, старики.

Мужчины боеспособного возраста, включая и безусых юнцов, рыскали по горам и долам в поисках добычи, не брезгуя и тем, что плохо лежало.

Грабили друг друга, соседние племена, а всё остальное время – блаженные обжираловки, на местном диалекте – тои. По любому поводу. По поводу рождения. По поводу смерти. По поводу того, что какой-то имярек необыкновенно громко испортил воздух.

Шустро и привычно сбивались в круги и кружочки по пять-шесть человек, привычно подносились дымящиеся чаши с мясом, привычно летели за спины обглоданные кости, привычно вырастали холмы и холмики разобранных скелетов самых разнообразных животных.

Раньше здесь проходили караваны с Востока на Запад, и с Запада на Восток. Шагали по горным тропам навьюченные верблюды, слоны. Кыргызы, видя столько почти дармового мяса, сходили с ума, и в их желудках нашёл свой последний приют не один индийский слон. Потом караваны исчезли, оставив у кыргызов ностальгические воспоминания о временах обильной жратвы.

Когда кыргызы на своих лошадёнках небрежно трусили по горам и долам, никто не был уверен, что спокойно донесёт до рта свой хлеб насущный. Сколько раз случалось, что волки, загнав дичь, и уже предвкушая вкус свежей крови, вдруг видели, как словно из-под земли вырастали кыргызы и отбирали добычу.

Чёрные времена настали для волков. Закомплексовали они, отошали. Кошмары замучили. Самый страшный кошмар – жующий кыргыз. Поняли волки, что вместе с кыргызами им не выжить. Собравшись в один большой круг, они, глядя на небо, словно укоряя за беспредел, отчаянно зарыдали. И – родился волчий вой, выражающий беспредельную тоску по навек покидаемой родине. Не будет преувеличением утверждение, что у истоков такого уникального явления, как волчий вой, стояли кыргызы.

Волки ушли в другие края искать свою судьбу, в горных отрогах остались кыргызы. Когда скакали, дико озираясь, лихие джигиты, всё живое пряталось, включая и человеческие существа женского пола. Стоило существу женского пола зазеваться, как в него летел пущенный мускулистой рукой тебетей(мужской головной убор), и, если существо имело несчастье удержаться на ногах после прямого попадания тебетей, как раздавался вопль восторга, и его на полном скаку подхватывали крепкие руки, ложили вдоль седла и мчали к белоснежным юртам. Привычно сбивались люди в круги и кружочки, летели кости за спины, и громадный детина – жених крутил свои ослепительные па вокруг крохотной девчушки – невесты.

Правда, бывало и по-другому. Заметив существо женского пола, однажды некий затосковавший джигит подхватил его на полном скаку, и, не обращая внимания на его вопли стенания, помчал к родным юртам. Тотчас же образовались круги и кружочки, полетели кости. В разгар свадьбы, когда счастливый жених начал отбивать ритуальный танец вокруг дебелий невесты, вдруг нахлынула толпа людей во главе с нервным мужичком с тремя детьми, один из которых был грудным и неистово орал. Невеста бросилась к нервному мужичку и, не стесняясь сотен глаз, вынула грудь и сунула её в рот орущему младенцу. Караван с повинной потянулся от юрты жениха до юрты мужа. А людям что – опять круги и кружочки, опять кости – за плечо!

Но потом случилась небывалая история. В одном из родов проживал батыр Аман, знаменитый своими лихими набегами. И вот он воспылал непонятной собачьей преданностью к дочери одного из мирян другого рода. Люди этого рода неизвестно почему не выдавали своих дочерей за род Амана.

Целыми днями Аман сидел на холме неподалёку от юрты девушки и пел тоскливые песни. И это сбивало всех с толку, они не знали, что делать и что подумать об этом. Было бы понятно, если бы Аман с джигитами налетел на стойбище, разграбил, мать изнасиловал, а дочь увёл. Но он не хотел такого, хотя друзья подбивали его на мужские поступки.

Над Аманом смеялись, забрасывали объедками, гнильём. Он, не обращая внимания ни на что, сидел на холме, не отрывая глаз от юрты.

Девушке поначалу было любопытно. Она вместе с другими смеялась над влюблённым, прогоняла его. Потом перестала смеяться, спряталась в юрту и сквозь решетчатые стены стала смотреть на него. А в один из дней поняла, что не может жить без него. Тогда она встала и, оттолкнув принципиальных родителей, пошла к холму. Они взялись за руки и пошли в стойбище Амана. Люди сбежались со всех сторон и смотрели на них, как на чудо. Они вдруг увидели, как это здорово, когда девушка идёт замуж по влечению собственного сердца.

Избранник неба

Странные люди стали появляться среди кыргызов. Они не лгали, не воровали, не старались при удобном случае покрыть чужую жену, короче, они были совсем не похожи на кыргызов, хотя от рождения были кыргызами. Они бродили по горным тропам и пели. О подвигах каких-то батыров, о любви, о Родине, о каких-то чести и достоинстве, которые зачем-то должны быть у человека. Поначалу от горлопанов, как их прозвали кыргызы, отворачивались, как от больных людей, старались не замечать. Но такова жизнь: кыргыз, если не ворует и не лжёт, то очень скоро впадает в беспробудную нищету. Горлопаны очень скоро стали в тягость своим семьям, а потом – всем остальным. Они стали изгоями. Даже собаки стояли выше их в иерархической лестнице, ибо у них были хозяева, а у горлопанов никого – свои семьи, считая себя проклятыми, отказывались от них.

У старика Атая и старухи Айши был сын единственный Турсун. Блаженный, к заботам о добыче пропитания не приспособленный, мог целыми днями ходить-бродить по горам, по ле-

сам, радоваться непонятно чему, слова какие-то непонятные бормотать. Терпели сына старик и старуха: куда денешься – ведь единственный, какая-никакая, но опора. Но однажды пришёл конец и их терпению. Подвернулся случай и Атай с Айшой с чистой совестью умыкнули пару овец и загнали в укромную пещеру. А потом пришли чужие люди, да стали расспрашивать. Атай с Айшой в мгновение ока преобразились в самых невинных людей, разводили руки, мотали головками. А Турсун, опора и надежда, показал недогнувшей рукой на пещеру. Чужие люди вывели оттуда овец и, попинав старика и старуху, пошли, радостные, прочь. Старик и старуха с укорами набросились на сына единственного. А тот нет бы устыдиться, принял гордую позу победителя и прочеканил чудные слова:

– Простите, я не могу врать

– А жрать ты любишь! Жрать!

Старик и старуха вытолкали его со двора и долго потрясали кулаками вслед удаляющемуся сыну.

За двумя горными перевалами от этих мест жил Солтобай, предводитель воинственного рода. Была у него единственная дочь – Сайкал, которую он, тоскуя по сыну, растил как мальчика, как мужчину. Всех сверстников, да и удалцов постарше, превосходила она ловкостью и силой. И умом тоже, утверждали люди, знавшие её. Она одевалась, как воин, и любила в одиночестве носиться на коне по горам, по долам. Победы над своими и в борьбе, и в стрельбе из лука приелись ей. Её тянуло на подвиги в чужие края.

Однажды она спрыгнула с коня, чтобы напиться из родника. В зарослях чья неподалёку от этого родника лежал Турсун и любовался облаками. И был счастлив, потому что никто не отвлекал его от мыслей, что рождались в его бесприютной голове. Подняв голову на топот коня, он увидел воина, который склонился над родником. Потом воин снял шлем и, распустив длинные волосы, стал умываться. Турсун замер, любуясь. Он понял, что воин – девушка, прекрасная девушка и у него перехватило дыхание от восторга.

Он стоял не в силах оторвать от неё взгляда. Как вдруг из кустов выскочили несколько дюжин воинов и с криками «Она – моя!» – бросились на девушку. Не успел Турсун сделать и шага, чтобы защитить её, как девушка раскидала распалённых сам-

цов, вскочила на коня и, спрятав волосы под шлем, умчалась прочь.

Турсун, зачарованный, пошёл за ней. У него появился смысл жизни. Он уже был не он, он весь от волос на голове до мизинцев на ногах пылал непонятным пламенем, которое не сжигало его до состояния золы, хотя было в стократ жарче любого огня. Он расположился на холме, напротив становища Солтобая и сутками напролёт пел песни.

– Ты дороже серебра и злата –
Ты прекрасна, как сама мечта.
От тебя мне ничего не надо –
Только взгляда, лучистого взгляда,
Что горит, как земли душа.

Поначалу Сайкал не обращала внимания на идиота на холме, который горлопанил песни. Потом ей надоело, и она натравила на него собак. И с грозным рычаньем помчались псы вверх по склону. Но что такое? Её псы, верные псы, которым и волки, и медведи были нипочём, вдруг оробели перед этим идиотом и, усевшись перед ним, стали слушать его, как будто стали вдруг понимать людскую речь.

Послала Сайкал тогда джигитов. Но и джигиты тоже не тронули Турсуна. Они окружили его и стали внимать песням.

Тогда она поехала сама. Она остановилась за спинами зевак и прислушалась к пению.

– Я бы жил на Земле, не печалюсь,
Одарённый навек судьбой,
Если б мне награда досталась:
Сесть за один дастархан с тобой.
Был бы рад умереть без имени,
И сгореть, как свеча на ветру,
Если бы среди сотен достойных,
Ты бы меня отличила на том пиру!....

– Ха-ха-ха! – попадали джигиты.
– Отличи меня, отметь! Ха-ха-ха!..
– Заткнитесь, животные! – гаркнула Сайкал.

Все знали крутой нрав этой девушки и притихли мигом.

– Убирайтесь отсюда! – рявкнула она ещё раз. И все, не мешкая, убралась восвояси, дабы не возбуждать её гнева. Она

была не только дочерью предводителя рода, но и единственной девушкой среди кыргызов, которая не боялась ездить одна. Сколько раз по незнанию пытались её умыкнуть лихие джигиты, и оставались на земле с проломленными черепами, перебитыми позвонками, с оторванными достоинствами.

– Ты кто? – спросила она.

– Турсун.

– Я тебя не трону, – сказала она. – Не бойся!

– Я никого не боюсь!..

– Чего же ты тогда дрожишь? – усмехнулась она.

– Я дрожу от любви к тебе! – сказал он и их взгляды встретились. Она первой опустила глаза, ибо не в силах человеческих было выдержать этот огненный взгляд.

– Если ты так любишь меня, поедem к найманам, отобьём у них табуны и стада, – сказала Сайкал.

– Нет.

– Боишься?

– Найманы такие же люди, как и мы. Не по совести отбирать у них стада.

– Что такое совесть? – презрительно хмыкнула Сайкал. – Оправдание для трусов.

– Мир такой большой,

Всё на чём-то держится:

Реки – на Земле,

У неба – Солнце есть,

А у человека – совесть, – пропел Турсун.

Сайкал глянула на Турсуна, поднялась и медленно пошла вниз. За ней поплелся её конь.

А вслед летела песня Турсуна:

– Кружу вокруг твоей красоты,

Как мотылёк вокруг огня.

Не зная, как тебе понравиться,

Схожу с ума средь бела дня.....

И явилась к Солтобаю дочь его любимая Сайкал.

– Я выхожу замуж, – сказала она.

– Кто твой избранник?! – вскочил обрадованный Солтобай,

уже давно потерявший надежду на то, что его дочь когда-либо захочет стать женщиной.

– Идём, я покажу его тебе, – сказала она и вышла из юрты.

Он вышел и увидел на ближнем холме Турсуна, который самозабвенно пел в окружении весёлой толпы.

– Вот он! – сказала она, лучась нежностью.

– Он же не человек! – сказал Солтобай.

– Он – человек!.. Это вы все чуть умнее собаки, незрели еще до человека, – сказала Сайкал.

– Я не дам тебе своего благословения...

– Тогда я не буду и спрашивать его у тебя.....

Солтобай задумался. Он знал дочь и любил её безмерно.

– Дай время привыкнуть к мысли о том, что ты будешь женой этого бездельника, – попросил Солтобай.

– Он не бездельник, у него трудится душа...

– Хорошо, хорошо, пусть трудится, – засуетился Солтобай, боясь рассердить дочь. – Езжай за матерью, а я возьму на себя хлопоты о свадьбе....

Сайкал поскакала в дальнее урочище, где стояла юрта её матери, старшей жены Солтобая.

Едва угас топот коня отъехавшей дочери, как Солтобай велел схватить Турсуна и продать в рабство. Через неделю приехал праздничный караван старшей жены Солтобая во главе с Сайкал.

– Где? – Сайкал вошла в юрту отца и вынула меч.

– Я смерти не боюсь, – сказал Солтобай. – Но ты и я должны бояться позора отцеубийства...

– Где? – Сайкал занесла меч для удара.

– Я продал его найманам.

Сайкал села на коня и поскакала. Через реки, леса, степи и пустыни. Переодетая в мужское одеяние, она вошла к вождю найманов.

– Отдайте мне раба, я дам вам золота с лошадиную голову.

– Ненавижу, когда меня, как женщину, покупают за золото,

– сказал вождь. – Завоюю раба, как воин. Сразись с моим батыром!...

Батыр найманов и Сайкал сошлись в конном поединке. С рёвом, с рычаньем скакали навстречу друг другу, норовя под-

деть на пику соперника, как кусок мяса. Потом, отбросив пики, соскочили с коней и стали терзать друг друга. Найман повалил Сайкал, срывая с неё кольчугу. Вдруг его рука наткнулась на упругую девичью грудь, и он застыл на мгновение, удивляясь. Этого мгновения оказалось достаточно для того, чтобы Сайкал, изловчившись, сорвала с пояса наймана кинжал и сразила им удивлённого батыра.

И повела под уздцы Сайкал своего коня, на котором восседал Турсун.

– В моём маленьком сердце от тоски по Родине родилась большая песня, – сказал Турсун. – Ты иди и молчи... Слушай...

От дней тех и до этих
Годы ушли караваном бесконечным,
Столетий пространства безмерные убежали...
Горы высокие в пески развеялись.
Города многоголосые, племена разноликие
Канули в пропасть времён...
Всё уходит,
Лишь слово остаётся.
Всё умирает,
Лишь слово живёт.....

Через пустыни, леса и горы вела коня Сайкал. Турсун пел неумолимо, и так же неумолимо слушала его Сайкал. Дни бежали, месяцы, а Турсун всё пел.

– О наше солнце, сгорело ты дотла...

Горе меня на части рвёт.

Скажи, на кого ты оставило

Несчастный свой народ?

Закончил свою бесконечную песню Турсун. Сайкал рыдала, рыдал Турсун, рыдали все кыргызы, которые, окружив их, шли за ними. Влюблённые не заметили, как вступили в родные пределы

Великая песня «Манас», которая родилась в сердце Турсуна, вдруг дала почувствовать всем этим разбойникам, насильникам и редким добропорядочным мирянам, что все они – одно племя, дети одного Солнца и одной Земли.

– Избранник неба! – выдохнул Солтобай.

Воздух Родины

С той поры, как Турсун прослезил всех кыргызов своей песней, людское благорасположение повернулось к горлопанам. Их перестали называть бездельниками и обливать помоями, теперь их называли – избранниками неба. Правда, столь головокружительное повышение их социального статуса не приносило особых дивидендов, но благодарение всем святым и за то, что стали кормить. Но самое замечательное, пожалуй, то, что люди трех родов стали считать за дело недостойное грабить друг друга, а если уж грабить, то не своих, а людей жарких долин. Кто знает, может, со временем у кыргызов трех родов возникли бы и более горячие чувства друг к другу, но тут с востока грянули монголы и каждый стал спасаться, надеясь на свои проворные ноги.

Волнами накатывали монголы, казалась бы, не оставляя ничего живого, но глядишь – едва прошла волна, как словно из-под земли из всяких там щелей и расщелин появлялись кыргызы и начинали привычную суету, привычно, подбоченясь, ездить на конях.

Но, бывало, монголы заставляли кыргызов врасплох.

– Сулейман! – кинулась мать к сыну, которого уже повели два монгола на конях.

– Мама! – рванулся было юноша, но монголы пустили своих коней рысью. И юноша побежал за ними.

– Держи! – мать, выхватив из казана кусок мяса, бросила сыну.

Сулейман поймал мясо зубами на лету. Не мог он остановиться, ибо руки связаны, – а конец веревки у всадников, которые, не оглядываясь, стегали своих коней.

И началась для Сулеймана другая жизнь. Он бежал в первых рядах штурмующих крепости, готовый пасть в каждое мгновение. Он сражался бесстрашно, потому что это было единственной возможностью умереть по-мужски. Второй ряд штурмующих всегда состоял из монголов, которые не щадили трусливых и нерешительных.

Одна крепость, вторая, третья, да и кто их считал. Сулейман воевал как безумный, и смерть отступала перед ним. На его

груди, как воспоминание о матери, талисман – берцовая кость барана.

Сулеймана заметили, произвели в монголы. Перед строем конных воинов одели на него монгольскую шапку, дали монгольскую саблю.

В безумно просторной степи воодушевлялись монголы на овладение миром.

– Мы – самые сильные! – мчалась первая шеренга всадников.

– Ур-р! Ур-р-р! У-р! – подхватывала бесконечная колонна, которая тянулась до самого горизонта.

– Мы – самые интеллектуальные! – мчалась вторая шеренга.

– Ур-р! Ур-р-р!

– Мы – самые сексуальные!

– Ур-р-р! У-р-р-р!

– Мир будет нашим!

– Ур-р-р! У-р-р-р!

Во главе своей тысячи мчался и новоявленный монгол Сулейман.

На троне восседал великий Чингисхан. По правую руку – великий воин и верный сподвижник Сулейман, по левую – другой предводитель, ясноглазый красавец, а ниже – тьма знатных и приближенных. Музыканты и танцовщицы душу услаждали. Радость, как бабочки, меж людьми порхала. Угрюм и неразговорчив лишь один Сулейман. Заметил это Чингисхан, нахмурился.

– О чем горюешь?.. Иль зависть сердце гложет? – спросил Чингисхан.

– Завидовать тебе – все равно, что завидовать солнцу.

– Великолепная лесть. Но ты не ответил мне..

– Отпусти меня, мой повелитель!

– Все золото хорезмшаха, все красавицы у твоих ног. Чего тебе не хватает?

– Воздуха Родины...

Глянул зорко на Сулеймана Чингисхан. Понял, что не удержать знатного воина, но, презрев гордость свою, решил сыграть на человеческой алчности и тщеславии.

– Хорошо, иди!.. Но отныне нет у тебя друзей, кроме собственной тени, нет у тебя плети, кроме конского хвоста.

Преклонил колени вмиг засиявший Сулейман.

– Спасибо, великий повелитель. Из раба ты сделал знатного воина, из нищего – богатого. Но никогда моя благодарность не была так безмерна, как сейчас.

... У подножья горы Сулейман клал кирпичи в стену возводящегося дома. Подъехали всадники.

– Сулейман! – воскликнул ясноглазый красавец, тот самый, что восседал по левую руку Чингисхана.

– О-у! – радостно заулыбался Сулейман.

– Мы почти весь мир покорили, дошли до океана, а ты?! – горько сказал ясноглазый.

– А я?.. Смотри!... – Сулейман показал на поле, где покачивались тугие оперенья колосьев, на дом свой, рядом с которыми бежали маленькие дети.

– Великий Чингисхан все еще ждет тебя. Хочет доверить тебе Персию.

– Спасибо. Но для души отраднее быть крестьянином на родной земле, чем повелителем в чужой...

Первая заповедь

Появление первых патриотов вроде Сулеймана в кыргызском обществе не заметили. Но то, что монголы вдруг исчезли, заметили многие. Кыргызы от всего мира были отгорожены горами, как очень-очень высоким забором. После долгих раздумий снарядили они четыре экспедиции, чтобы взобраться на вершины гор и обозреть четыре стороны света. Глянули в сторону лесов – только волки воют, да медведи рычат, в сторону степей – пыль столбом от бесчисленных стад джейранов, в сторону пустынь – верблюды кружатся в брачных танцах под радостные взбрыкивания верблюжат, в сторону океана – разжиревшие киты забавляются, пуская фонтанчики один выше другого.

Экспедиции спустились с гор и рассказали об увиденном. Кыргызы, собравшись в один большой круг, стали думать. Спорить, дубася друг друга. Мириться. И снова думать. На седьмой

день решили, что монголов настигла божья кара. Участники экспедиции миглом превратились в народных героев. В разные стороны поскакали всадники. – Свобода! – во все горло орала они. Со всех щелей и расщелин повылазило великое множество кыргызов. Все ходили, выпятив грудь, надув щеки и играя мускулами. Опять собрались в один большой круг. В середине круга появились хмурые мужики с мечами и стали танцевать воинственный танец.

– Монгол! – истошно крикнул кто-то, показывая на склон горы с одиноким всадником. Танцоры, побросав мечи, полезли под помост, зрителей как ветром сдуло.

На помост въехал Асан-кайгы, мудрец, который избрал себе жилищем пещеру под самой высокой вершиной и жил там неотлучно, печалась о несовершенствах мира. Он въехал на помост, с тоской оглядывая обезлюдившее пространство.

Асан-кайгы запел отрывок из «Манаса»:

– Где они, кыргызские львы,

Где они – живы или мертвы?

Ни от мертвых, ни от живых

Нет у нас известий от них!

Этот мир – суета и тлен.

Может, ворон, зол и стар,

Очи, горящие как пожар,

Очи кыргызов моих клюет?....

И стали вокруг помоста появляться сконфуженные кыргызы. Чем дальше в сказ, тем больше кыргызов.

– Вот вы, каждый врозь, и все, как зайцы, а вместе вы бы никого не боялись, – сказал Асан-кайгы. – Небо не может жить без солнца, стадо без вожака, а народ без хана... Давайте выберем себе хана!

Выбирать хана у кыргызов, где каждый считает другого носителем всех людских пороков, а себя образцом добродетели – дело почти безнадежное. Поэтому не удивительно, что у помоста в момент образовалась давка. Вот выскочил один.

– Вор! – выдохнула толпа. Затем выскочил другой.

– Обжора!

– Бабник!

Давка у помоста перешла в потасовку. Асан-кайгы во избежание более серьезного побоища гаркнул во все горло:

– Кто не хочет быть ханом, отойдите в сторону!

В сторону отошел лишь один человек.

– Почему ты не хочешь быть ханом? – спросил у него Асан-кайгы.

– У меня своих забот по горло, – сказал человек.

– Как тебя зовут?

– Бечара.

– Вот человек, который понимает, что главное для хана – забота, – сказал Асан-кайгы. – От имени предков объявляю его ханом кыргызов!..

– Нет, нет! – завопил Бечара, и, сжав голову с поднявшимися дыбом волосами, бросился наутек.

Оскорбленная толпа бросилась за ним. Кто пешком, кто на коне, кто на быке. Бечара бегал быстрее коня, плавал стремительнее рыбы, прыгал выше и дальше тигра. Но слишком много было преследователей. Загнали они Бечара на самую высокую скалу, а сами добраться до него не могут, да и Бечара вряд ли оттуда сойдет. Непонятно, как он туда взобрался. Видимо, от великого страха.

– Будь нашим ханом! – кричала толпа, беснуясь у подножья. За время погони они очаровались ловкостью Бечара.

– Нет! – кричал Бечара, – я не смогу всех вас прокормить!

– Мы сами себя прокормим! – кричала толпа.

– Вы – лентяи! – кричал Бечара.

– Мы не будем ленивыми!

– Вы – тупые!..

– Мы будем умными! – рыдала толпа.

– Вы – воры и разбойники!

– Будь нашим ханом!.. Мы не будем воровать! – закатывалась толпа. Многие теряли сознание, падали, что не удивительно: отсюда, снизу, Бечара с яростным лицом обличителя казался неким божеством во гневе.

– Я иду! – крикнул Бечара, которому стало жалко людей.

Люди сообразили натянуть кошму, держа ее за края. Бечара прыгнул вниз, люди поймали его. С тех пор повелось у

кыргызов вздывать выбранного хана на кошме, считая, что он дан им самим небом.

Возлежал Бечара на кошме: никого не видать, только небо да белые облака. Скучно. Спрыгнул на землю и сказал свою первую заповедь: – Чтобы быть ханом, достойным вас, я должен ощущать землю под ногами.

Последняя стрела

Давно это было. Тьма неисчислимая войск чужеземных накатилась на кыргызов, неся гибель и разор. Поредевшие, как лес после пожара, кыргызы отступали в горы, оставляя под пятой врага благодатные долины.

На гребень холма, где сидел вождь кыргызов, привели посланников завоевателя.

– Мы не держим на вас зла, хотя многих наших воинов вы положили, – сказал посланник. – Мы дарим вам жизнь.

Вождь кыргызов промолчал, надменно выпрямившись.

– Вы, кыргызы, – маленький народ, вас можно, не ущемляя никого, собрать в одну пригоршню. Отдайте нам долины и живите с миром...

– Да, нас мало. Можно вместить в одну пригоршню или походную сумку любого врага. Но мы можем стать и той последней стрелой в колчане, которая поразит тех, кто посягнет на нашу свободу и честь.

Откланявшись, удалились посланники. Вождь кликнул своих батыров.

– Когда бог создавал двуногое существо, то дал ему сердце, чтобы оно стало человеком, – сказал вождь. – Когда бог создавал кыргызов, то дал им Манаса, чтобы они стали народом. Проведите воинов рядом с гумбезом великого Манаса, чтобы они вобрали в свои сердца дух Манаса и преисполнились волей последней стрелы...

И всю ночь горели костры, рокотали манасчи, и рядом с гумбезом великого Манаса шли воины.

А на рассвете грянул бой. Яростный, отчаянный. Воля последней стрелы была неустойчивой – враг был разбит и бежал.

Кыргызы пришли к гумбезу и преклонили колени. И сказал вождь:

– Пока ты есть, мы – будем.

Единство – сила!

Об этой победе долго помнили. Правда, некогда и не перед кем было распространяться о подвигах – почти все были участниками того судьбоносного боя – и ещё теплилась земля после потоков крови и пожарищ и надо было выживать, размножаться.

Ушло в мир иной одно поколение, другое, время выветрило остроту горя и потерь и тот великий бой стал воплощаться в героические сказания. Появились горделивые позы, народились пышные речи. Порой, слушая манасчы за обильным чревоугодием и возбуждись до трепета ноздрей, самые отчаянные взбирались на вершины гор и с вызовом озирали все четыре стороны света. Стояли вплоть до отмерзания мужского достоинства. Тех, кто выстоял этот грозный караул и сохранил способность к детопроизводству почитали как народных героев.

Откровенно говоря, никто не рвался в эти суровые края. Ближние и дальние соседи по месту обитания, порядком поубивав друг друга, отлеживались и, благодаря неутомимым женщинам, множили количество боеспособного населения.

Это историческое затишье кыргызы восприняли как свой блестящий триумф. Говорили о себе только как о самом великом народе во всей вселенной, впрочем, и все другие эпитеты, обозначающие высокие добродетели, относили только к себе. Если по отношению к другому народу употребляли какой-либо эпитет, ну, например – «честный», то кыргызы настораживались, а если два эпитета, например «честный и благородный», то кыргызы воспринимали это как посягательство на свою честь и достоинство.

В память великих предков повсюду возводили балбалы. Эпос «Манас» объявили кладезью мудрости всех времен и народов, стимулятором героических качеств. Чтобы продолжать победоносную поступь вглубь времен, всех кыргызов обязали выучить эпос «Манас», но, хвала милосердию правителей, не тот вариант, который надо сказывать год-полгода, а другой, кото-

рый сочинил хитроумный Жаки – его можно было рассказать за день, за два.

Страна переполнилась манасчы. И днём и ночью на полянах, на буграх, возле юрт, табунов лошадей, отар овец под тоскливые взгляды осиротевших животных сидели и стар, и млад, и, жестикулируя, иногда подвывая, сказывали эпос.

Народ не без уродов. Находились и такие, кто не хотел сказывать эпос. По тупости, лени или по каким-то другим соображениям. Их не калечили, не убивали, а великодушно ссылали в долину Тозок, где зимой камни, издавая громopodobные звуки, лопались от мороза, а летом от жары земля со стоном разветвлялась трещинами, и по этой причине там даже птицы не летали.

Речи, разговоры кыргызов стали напыщенными, удивительными для чужеземцев. О чем бы ни разговаривали кыргызы, через слово или через два слова непременно вставлялись слова о любви к родине, к народу, о немедленной готовности умереть за них, как-будто кто-то неусыпно сомневался в этом и им надо было постоянно доказывать свои неостывающие чувства. На тех, кто забывал или не хотел вставлять в свою речь эти святыя слова, смотрели с подозрением. Недоумки. Не понимали они, что эти слова, подобно слову божию, спасают в любой ситуации. Случилось же однажды, что на сборище некий субъект громко испортил воздух. Ещё никто не успел ни возмутиться, ни засмеяться, как этот субъект торжественно объявил, что он сделал это во славу Родины. Все благоговейно замерли. Потом, некоторые, кто раньше сидел, намертво сжав рты и прочие отверстия организма, облегченно стали попукивать, патетически восклицая: «За Родину! За народ!»... Благодаря святым словам постыдный конфуз обратился в торжество патриотизма.

Персы, греки, китайцы, арабы и прочие представители незначительных народов, которые жили среди кыргызов, стали сниматься с насиженных мест. Горевали – всё-таки срослись сердцем с горным краем – и уезжали. Знать наизусть эпос «Манас» – это не беда, многие выучили, хотя не понимали ни слова. Беда – другое, отсутствие дельного разговора. Святыя слова, вставленные в интимный разговор, сообщали ему даже необычный шарм, пряность, а вставленные в деловые переговоры, превращали любое дело в бессмыслицу. Поэтому – разор и нищета.

Плакали персы, плакали арабы, плакали китайцы. И уезжали, с великой любовью оглядываясь на караван поднебесных гор.

Города стали разрушаться, оседать, зарастать травой, превращаясь в пастбища. Простор и воля. Поняли кыргызы, кто и что стесняли их неукротимый дух и с новой силой принялись за эпос. Досказывались до того, что Манас, плод вдохновения, стал восприниматься как живой человек, предводитель кыргызов в славные времена. Каждый из трех родов считал его своим предком, приводил неопровержимые доказательства. Кончилось тем, что перебранки перешли в побоища, и кыргызы разошлись в трех разных направлениях. Благо, горы всех вмещали, всех прятали и при желании можно было годами, десятилетиями, веками не видеть друг друга.

Тем временем оазисы Джунгарии переполнились тучными стадами и калмаки в поисках пастбищ двинулись в сторону великих гор. Калмаки напали на один род, разграбили, выживших увели в рабство. К великой радости двух остальных родов, которые считали этот род самым заносчивым и никчемным. Но коротка была их радость: орды калмаков нагрянули и к ним и развеяли их, словно снопы сухой травы. Уцелевшие кыргызы бежали в долину Тозок. Перевалив горную гряду, они застыли в оцепенении. Плающая как жаровня долина, где даже птицы не летали, какой её все знали и куда изгонялись отверженные, пестрела городами, селами, цвела садами.

Отверженные приняли беженцев как родных. Откормили, отпоили. Не укоряли, не донимали вопросами. Только попросили соблюдать местные порядки. А они были простые: есть, спать и работать. Кто на поле, кто на пастбище, кто на кузне. А кто-то ходил и думал. Здесь считали, что думание – удел немногих и поэтому ценили их. Никто никого не поучал, никто ни к чему не призывал – каждый был занят своим делом.

– Как же вы выжили без Манаса? – решил спросить один беженец у вождя отверженных Талкана. Долго молчал Талкан, потом ответил: – Святое надо носить в сердце. Когда о нём постоянно говорят, оно выветривается и превращается в пустое слово.

Калмаки понимали, что кыргызов надо добить. Иначе, если даже не по-крупному, то по мелочам хлопот не оберешься.

Даже казан во дворе без присмотра не оставишь. Собрав боевые дружины, они остановились на привал у подножия тозокских гор. Обдумывая тактику уничтожения, густо насыщали себя пищей.

Ночью на гребнях гор с юга загорелись костры. Много костров. Калмаки усмехались: их не меньше. Одолеют.

На другую ночь костры горели на юге, на западе. Калмаки призадумались: если у каждого костра даже по десять воинов, то сколько же их, этих кыргызов?

Не сообразили они, что кыргызы, чтобы выжить, прибегли к простой уловке. И стар, и млад, одним словом, те, кто не мог крепко держать в руках копье, по два, по три, а где-то даже по одному рассеялись по гребням гор, чтобы жечь костры. Занятие не сложное, но со стороны долины, откуда шли калмаки – зрелище впечатляющее.

На третью ночь и на юге, и на западе, и на востоке горели костры. Калмаки глядели на костры на гребнях гор и в сердцах даже самых отважных поселилось сомнение.

Перед рассветом, когда калмаки, убаюкав страх, заснули мертвым сном, кыргызы подобно урагану налетели на захватчиков. Загнали в болото и перебили. Самые везучие сумели убежать. Их не преследовали: пускай донесут до ближних и дальних земель весть о свободолюбивых кыргызах.

Талкан стоял, оглядывая своё поредевшее войско. Что он мог им сказать? Поблагодарить? Но за что? Это не только его, но и их земля. Наконец, на ум пришли те слова, которые он мучительно искал. И сказал Талкан:

«Единство – Сила!»

Продолжение следует...



Виктор КАДЫРОВ

МАШИНА ВРЕМЕНИ

Рассказ

Скажу вам честно: Машина Времени очень вредная штука. И не дай Бог вам ею воспользоваться! Простому гражданину, вроде меня, пять день вкальывающему на Отчизну и имеющему два законных выходных, никаких путешествий во времени не нужно. Во-первых, в рабочие дни мне приходится горбатиться, чтобы на жизнь средства добыть – жене обнову справить, детей одеть-обуть, а в выходной – святое дело – с друзьями встретиться. Ну и зачем мне разрывать эту жизненную цепь? Куда мне лететь на Машине Времени: вперед, в Прекрасное Далеко? Или назад, в эпоху доисторического материализма, как говаривал товарищ Бендер? Даже подумать страшно, что я могу оказаться один в другом времени. Пусть и с друзьями, все равно дух заходит от одной мысли. Только представлю себе орды татаро-монгол или гуннов, несущихся на меня с дикими глазами и с обнаженными саблями, вмиг всякие фантазии, типа Машины Времени, тошнотворными становятся.

Откровенно говоря, я никогда прежде об этом и не задумывался. До одного совершенно необычного случая.

Как-то бреду я в выходной по Дубовому Парку, а навстречу мне идут два моих бывших одноклассника. Давненько я их не видел, как-никак почти тридцать лет минуло с тех пор, как последний звонок для нас в школе прозвенел. Обнялись мы, радуемся страшно. Чувствую, от них запах идет винный. Ребята, Серега и Мишка, слегка поседевшие и располневшие, толку-

ют, что, как и со мной, друг с другом с тех самых пор не встречались, вот и посидели в кафе, отметили. Свернули мы к «Бакалее», взяли бутылочку, закуски всякой и в парке на скамеечке пристроились.

Выпиваем потихоньку, ведем беседу. Ведь сколько воды утекло, сразу и не вспомнишь. Страна наша великая, Отчизна – Советский Союз исчезла с просторов планеты и мы, ее дети, словно сироты, маемся по углам бывшей империи, ищем, где преклонить голову, а кто и подальше подался на чужие хлеба. Сидим, горюем, вспоминаем прошлое житье-бытье. Как светлое будущее – коммунизм строили, да не достроили. Как обещали нам социализм с человеческим лицом, а получили капитализм со звериной мордой.

Пока делились воспоминаниями, бутылка закончилась. Пришлось нам за новой бежать. Выпили еще по одной, Мишка расчувствовался, говорит, едва не рыдая: «Ребята, я же чуть докторскую не защитил. Все уже готово было, а тут пошло-поехало. Союз, словно карточный домик развалился. Такой смерч завертелся, я вместо института на базаре оказался. Шубами торговал, чтобы с голоду не помереть. Вот как!» Мы ему с Серегой посочувствовали, своими горестями поделились: всем не сладко было. Экономика-то дуба дала, все предприятия, заводы закрылись. Всяк сам, как мог выживал. Матери Родины-то уже не было. Кому мы на хрен стали нужны?

Серегу говорит: «Эх! Хорошо было в стране советской жить. Одна у всех людей цель была. Мораль строителей коммунизма в сердцах билась. А теперь мы граждане разных государств. Ты Витек – киргиз, я – россиянин, а Мишка – украинец. У них вообще не разберешь, за красных они или за белых». Мишка заерепенился: «Мы за справедливость, за независимость!» Серегу его осадил: «Ты уже и так этой независимостью по горло наелся. Кому ты нужен со своей независимостью? От кого?»

Я их успокаиваю: «Да, ребята, отняли у нас родину. Променили светлые идеалы на порнуху, ужастики кошмарные, да на шмотки импортные, которые на поверку китайским дерьмом оказались. Старики на пенсию даже свои поминки справить не могут, не говоря уже о нормальной жизни. При Союзе старики были в почете». Мужики горестно покивали головами.

Мишка размечтался: «Вот бы назад вернуться лет на тридцать, когда мы только из школы вышли в жизнь. Сколько огня было, сколько мечтаний!» Мы с Серегой усмехнулись: «Если бы ты, Мишка, знал, чем будущее светлое обернется, что бы делал? Куда бы свой огонь дел, не скис бы?»

Мишка разгорячился, кричит: «Я бы всем рассказал, к чему Беловежский заговор приведет. Как Горбачев, а потом Ельцин великую державу развалят. Людей по миру с сумой пустят!»

– Так тебе бы и поверили! – говорю я с сарказмом. – В психушку посадили бы и правильно сделали бы. Кто бы в такую ахинею поверил?

– А кто такую ахинею в жизнь воплотил? – не унимается Мишка.

– Это, может быть, Пентагон такую стратегию разработал, – предположил Серега. – Американцы только и мечтали, чтобы Союз грохнулся.

– Жаль, что Машину Времени придумать нельзя, – взгрустнул Мишка. – Я бы в прошлое вернулся. Я бы его изменил.

Едва он проговорил это, как до нас донеслись звуки музыки. Играл духовой оркестр. Мы затихли и прислушались. Оркестр играл на Старой площади. Оттуда же слышался гул многотысячной толпы.

Мы втроем с недоумением глянули друг на друга. Старые воспоминания нахлынули на нас и сжали в своих объятьях.

Мишка первый нарушил молчание:

– Не может быть! Вы чего-нибудь понимаете?

Мы с Сергеем ошарашено качнули головами.

– Похоже на парад, – дрожащим голосом произнес Сергей.

– Какой, к черту, парад на Старой площади? – возразил я. – Там уже со времен нашей юности никаких парадов не проводят. С тех пор, как Белый дом и новую площадь отстроили. Да и какие сейчас парады? У нас люди только на митинги или помародствовать собираются.

Оркестр выводил «Прощание славянки», раздавались ответственные лозунги и им отвечал многотысячный рев толпы: «У-р-р-а-а!!!». На Старой площади происходило нечто необычное, из ряда вон выходящее. Мы с испугом уставились в ее сторону, но деревья парка скрывали все, что там творилось.

И тут грянул гимн Советского Союза. Нас словно ветром подхватило со скамейки и понесло в сторону Старой площади.

На прилегающей улице было полно народу. Люди стояли большими группами, громко разговаривали и смеялись, где-то пели нестройными голосами, кто-то даже пытался танцевать под гармошку. То тут, то там мы замечали, как бутылка ходила по кругу и раздавался звон стаканов. Но что поразило нашу троицу больше всего, так это плакаты в руках стоящих на дороге людей. С замершим от удивления сердцем мы вглядывались в лики давно забытых «вождей».

– Суслов, Громыко, Подгорный, – словно молитву шептал тихо Миша, – этого не помню. Кажется, Рашидов. А это – Кунаев.

Человек с плакатом, стоящий впереди ближайшей к нам группы, повернулся в нашу сторону и нашему взору предстал бровастый портрет «дорогого Леонида Ильича Брежнева», грудь которого увешана была пятью звездами Героя. Мы ахнули.

Гам томящейся в ожидании дальнейшего действия толпы, собравшейся перед площадью, перекрывал порой грохот музыки у Дома правительства, куда потихоньку подвигались все стоящие. Время от времени слышны были зычные возгласы громкоговорителей: «Слава Коммунистической партии Советского Союза! У-р-а-а!», «Слава советскому народу – строителю коммунизма! У-р-а-а!» и им отвечал мощный хор людей, гордо вышагивающих по площади.

Мы потеряли чувство времени и шли к Старой площади словно во сне. Тут грянул новый лозунг: «Да здравствует Первое Мая – День солидарности всех трудящихся! У-р-а-а!». Странно! Мы непонимающе захлопали глазами. Был сентябрь, листву деревьев уже тронуло золото наступившей осени. Какой может быть май?! Мы почти бегом добрались до центра площади.

На втором этаже мощного серого здания правительства, построенного в эпоху сталинского классицизма в форме трибуны, увенчанной каменными флагами, стояли какие-то люди и ответственно махали руками проходившим мимо здания людям. Те поднимали головы, жадно ели стоящих на трибуне восторженными глазами и в ответ тоже махали руками. Развевались знамена, плыли мимо нас плакаты давно «почивших в бозе» великих старцев.

Внезапно я вздрогнул. На меня словно вылили ушат холодной воды. Я осознал весь ужас происходящего. На одной из машин, плотно увешанной щитами и транспарантами, я заметил надпись: «1973 год». Я, не в силах произнести ни слова, только тыкал вытянутым пальцем в направлении надписи, чтобы обратить на нее внимание друзей. Хмель, словно туман в лучах солнца, испарялся из моего мозга.

Я представил себе, что моя жена и дети остались там, в 2003 году. Как я их встречу?! Через сколько лет?! Да и как появятся мои дети, если меня не будет в тот момент, когда я их зачал?! Да и будет ли моя дорогая Клава моей женой?! Вопросы, как обухом топора, били по моей несчастной голове, и на глаза невольнo наворачивались слезы. Беспомощно я оглянулся на товарищей. Мишка как зачарованный смотрел на плывущих по площади демонстрантов и по его лицу тоже струились слезы. О чем он думал? Я представил себе, как Мишка говорит пламенные речи, осуждая Горбачева, Ельцина, Акаева, и на душе стало тягуче-тоскливо и страшно. Ведь нас запишут в диссиденты и во врагов народа! Психушка нам обеспечена, если не зона и курорт в Магадане. Я бросил взгляд на Сергея. Он был красный как рак. Вращал выпученными глазами и по его лицу градом катил пот.

– Ребята, если это не белая горячка, – просипел он, – тогда это массовый психоз. Давайте выпьем, пока у нас крышу вконец не снесло.

Тут же мы допили остаток водки и нам малость полегчало. Даже общее веселье передалось нам. С каким восторгом смотрели люди из колонн на парящих над ними партийных вождей, какой огонь полыхал в одухотворенных лицах, объединенных одной идеей. Казалось, и мы прониклись чувством сопричастности к Великому делу, которое партия доверила этим людям. Как же мы соскучились по таким идеям, которые делали наше существование осмысленным и нужным. Как же мы были заброшены и потеряны все это время!

Все-таки нас трое, подумал я. Не пропадем. А как выжить в условиях развитого социализма мы еще помнили. Обнявшись, мы шагнули на площадь и зашагали впереди очередной группы людей.

Нас охватил такой душевный порыв, что мы заорали слова «Интернационала»:

Вставай проклятем заклеименный весь мир голодных и рабов,

Кипит наш разум возмущенный и смертный бой принять готов!

Наше мушкетерское внедрение в массы, внесло некоторый диссонанс в общее движение. Двигавшиеся за нами люди застыли от неожиданности на месте. В них врезалась задняя колонна.

За нами образовался вакуум. И в этом вакууме и во внезапно наступившей звенящей тишине раздался рык, льющийся откуда-то с небес:

– Идиоты!!! Кто выпустил эту троицу на съемочную площадку?! Уберите немедленно!!!

К нам подскочили какие-то люди и поволокли в сторону, заламывая руки.

И тут я все понял. Это же снимали кино!!! А мы-то думали!.. Я, как сумасшедший, захохотал от нахлынувшего волной счастья: слава богу, я вновь очутился в своем времени. И вновь обрел своих родных, которых чуть не потерял безвозвратно. Рядом со мной вырывался Мишка. «Сволочи, проведите меня к Усубалиеву, я открою ему страшную тайну! Вселенский заговор!» Сергей обнимал сопровождавших, выкрикивая: «Братцы, спасибо, а я думал, что у меня белая горячка!»

Нет, скажу я вам, Машина Времени вещь не только вредная, но и не нужная. Нам лучше всего там, где мы живем. Уверяю вас. Чтобы вам ни говорили фантасты и мечтатели. Я понял это, на мгновение попав в 1973 год. И этого мгновения мне хватило на всю мою оставшуюся жизнь.

ПОЭЗИЯ



Александр ЗАЙЦЕВ

МНЕ ОСЕНЬ ЖЕНОЮ БЫЛА...

Новые стихи

БЕГСТВО

Хоть мудрость учит не рубить с плеча,
Не всяк мудрец в минуту грозовую.
Наш поезд, точно кочет прокричав,
Догнал с трудом немалым ночь вторую.

Отъезд свой обсудив с собой не раз,
Я сделал вывод – нет трудней вопроса,
Прекрасно понимая, что сейчас
Уснуть на полке будет мне непросто –

Рассматривая низкий потолок,
Я не на шутку с вечера встревожен,
Тревогами-флажками словно волк
В неровный час губительно обложен.

Нешуточных событий череда...
Не слишком ли случилось все поспешно?
А не секрет, что полая вода
Почти всегда бывает – безгрешна.

Она, свою поспешность не тая,
И веток наломает, и ...железа.

Наверно, так случилось, что и я,
Отмерив раз, – взял тотчас и отрезал –

И в то же время, – пристальной взгляни
И поклянись главой своей на плахе,
Что хлеб насущный в те крутые дни
Я ел всегда замешанным на страхе.

Ведь и тогда я жил предчувствием бед
В краю, что был и грозным, и тревожным,
И этот вот поспешный мой отъезд,
Наверное, конечно же, не ложный.

Но почему же, только рассвело,
По властному сердечному велению,
Всё, что уже теперь произошло,
Я подвергаю критике, сомнению?

А коль всё так, то видишь без труда
Противоречий явное соседство.
Текли года, и вновь текут года.
И мой отъезд в них – не отъезд, а бегство.

И в жизни загудевшей штормовой,
В которой клин мы вышибаем клином,
С опущенною низко головой
Мне мыкаться сегодня блудным сыном.

ГОРОД

Прости, что не принес тебе цветы.
Будь на земле своей благословенным.
Пока я жив, бесспорно то, что ты
В моей душе останешься нетленным.

То время, что проходит, – навсегда
В царапинах, потёртая пластинка.
На совесть поработали года –
Совсем неузнаваема «Карпинка», –

Кусочек детства... Нет былой реки...
Какие изменения в округе!
Куда ни глянь – рассыпаны «комки»
С глазами искушённого хапуги.

Обложенный торгующей толпой,
Я понял вдруг, что стал чужой и лишний.
Всё б ничего, но только, Боже мой,
На улицах, в подземках, столько нищих!

Пугающе-стесняющие нас,
С укором, болью, ужасом во взгляде!..
У тех, что процветают в этот час,
Они живут как будто бы в закладе.

Им суть благих реформ не объяснить,
Когда богач, как правило, – пройдоха.
Ужель извечно праздно можно жить,
Когда твоим сородичам так плохо?..

О, город, город, боли не тая,
Я говорю в глаза тебе про это...
Была когда-то молодость моя
Безмерной добротой твоей согрета.

Мне дороги и Ошский твой базар,
И твой, – текущий прямо от вокзала,
Деревьями засаженный бульвар,
И шлейф Большого Чуйского канала,

И цепь вершин, привставших над тобой,
Со снегом, что вовеки не растает...
Дубовый парк, всё тот же, молодой,
В мою ладонь прощальный лист роняет.

Я что-то непонятное шепчу,
Мне хочется в плечо твоё уткнуться,
Я постараюсь, город, я хочу
В последнем сне на миг к тебе вернуться!

Кто мы есть? Обречённая стая?
Не придумать такого во сне!
Привыкаем, мой друг, привыкаем
К серой жизни в свободной стране.

Нам непросто в крутой непогоде.
Только где он, желанный рассвет?
Привыкаем к неожиданной свободе,
От которой нам радости нет.

Кем мы в будущем станем? Не знаем.
Что за время пришло? Не поймёшь.
Привыкаем, мой друг, привыкаем
Зреть и слушать державную ложь.

Кто нас ловко однажды поссорил,
Кто бедую наполнил наш дом?
К нищете, проливаемой крови
Привыкаем. И лучшего ждём...

СУГРОБ

День встал, по-весеннему яркий,
Но землю бросало в озноб.
Под клёном в заброшенном парке
Лежал, затаившись, сугроб.

Зима убежала волчицей,
Оставив в беде одного...
И оттепель хищною птицей
Висела над телом его.

С утра в забытьи пребывая,
Он лёгким казался, как дым.
И лучиков звёздная стая,
Как пчёлы, звенела над ним.

Бессильный, как будто варёный,
Сугроб погружался во тьму.
И страшно кричали вороны,
Погибель пророча ему.

И солнце он видел невнятно,
И было так трудно дышать...
Вдруг стало до боли понятно,
Что помощи нечего ждать.

Метели воротятся вряд ли...
Отрезаны к жизни пути.

«Скорей бы по вздоху, по капле
В ожившую землю уйти...»

Апрельский снег в пустом лесу зачах.
Спешат ручьи беспутные куда-то.
Вокруг весна...
А у меня в глазах
Сухие краски старого заката.

Уставшей тенью за тобой бреду, –
Не вымолить у старости отсрочки.
А на весёлой яблоне в саду
Вот-вот взорвутся розовые почки.

Течёт твой взгляд, спокойствием грозя,
Из-под ресниц торжественно-значимых...
Теперь я понял, кажется: глаза,
Видать, всегда мертвы для нелюбимых.

КАЧЕЛИ

Был час пробужденья капели,
Но холод стоял, как гора.
Растерянный март на качели
Присел осторожно с утра.

Туманились плечи крутые,
Был взгляд припорошен пургой.
И кто-то качели лесные
Невидимой тронул рукой.

И медленно, свитая в кольца,
Позёмка прошла холодком.
А вот и озябшее солнце
В сугроб полетело снежком.

Легко высоту набирая,
Скрипели качели, несли,
Стремительно в высь поднимаемая
Восторженный март от земли.

И синие очи метели
Под звёздами он целовал...
Ну кто его – кто! – на качелях
Рискованно так раскачал?

БЕЛЫЕ НОЧИ

День закатился последний, весенний,
Лето – начало, которого ждут.
Белые ночи... и белые тени
Следом за мной осторожно идут.

Страшно мне листьев молочных касаться.
Дачный посёлок задумчиво-нем.
Странно, но хочется мне разобраться
В эти мгновения: «кто я, зачем?».

Надо ли в белое красить берёзку?
Белые платья у яблонь и слив.
Робко белилами стелет дорожку
В полночь луна через Финский залив.

Шепчет волна безразлично спросонку.
Спит Петергоф – драгоценный брелок.
В Белые Ночи искал Незнакомку
В этих местах очарованный Блок.

Так же изящные белые тени
Следом на цыпочках трепетно шли...
Строгий Кронштадт в проводах сновидений
Призрачной крепостью виден вдали.

В эти часы не уйти от вопроса:
Кто ты? Откуда? Зачем на земле?
Белые Ночи у Лисьего Носа, –
Белая сказка в серебряной мгле.

У жизни, стрелою летящей,
Почти что на самом краю,
Грозой молодой, бесшабашной
Ты в душу влетела мою.

Светало в заброшенном парке.
Умолкли в листве соловьи.
И были до ужаса жарки
Безумные губы твои.

А жизнь, суетою кипящей
Всё мудро решила за нас...
Но образ твой, далью манящей
Так ярко сверкнув, – не угас.

У памяти цепкой во власти
Стою у полуночных туй.
Как быстро, как яростно гаснет
Твой долгий, как вздох, поцелуй.

ХУДОЖНИЦА

Бывают дни, когда мертвеют краски,
И кисть поднять противится рука.
И потому по собственной подсказке
Художница валяет дурака.

Как это в деле творческом непросто:
Забыть мольберт до некоторых пор...
Ей нравится октябрьский Белоостров
В огне рябин, в тарелочках озёр.

Минуты эти дороги, желанны:
Лицо в копнушку свежую зарыть
И не спеша студёные туманы,
Дыханье затая, переходить...

Но вот в душе светло и торопливо
Волшебный колокольчик прозвенит:
Мольберт, что был оставлен у залива,
Её к себе потянет, как магнит.

Но день придёт – навалится несчастье,
Когда, прервав фантазии полёт,
Завистник чёрный пальцами ненастья
С её холста всё лучшее сорвёт.

Меня закрутили дела, –
Какая их сдержит уздечка?
А знаю, ведь знаю, ждала
За тихой окраиной речка.

Туманным платочком вчера
Она меня долго манила,
А мне до полночи с утра
Всё некогда, некогда было.

Наверно, она той порой
Меня приняла за повесу
И, взгляд погасив голубой,
Прижалась доверчиво к лесу.

Моя ли, её ли вина,
Но тянет к ней, дьявольски тянет...
Какими глазами она
Сейчас в мою сторону глянет?

Где прижился, там рощи и плёсы
Не твоя ли по сердцу родня?
Среди ночи за многие вёрсты
Позовёт Белоостров меня.

Прорывая таможни-рогатины,
Прорываясь сквозь слёзы и грусть,
Сквозь завалы, колдобины памяти,
Обязательно там окажусь,

Там, где белки, шмели золотистые,
Где ручьи и болота – свои,
Где черёмуху песней неистойвой
Опыляют сейчас соловьи,

Где к Разливу то лесом, то по полю,
От кипящего в ней серебра,
После плена ледового, – ощупью
Пробирается речка Сестра...

Не жалея молоденьких веток,
Бродит рощами ветер босой...
Хорошо бы ещё – напоследок
В эту полночь – столкнуться с грозой,

По тропе, молодея мгновенно,
Под дождём ошалелым бежать
И под ивой столетней блаженно
Сумасшедшую молнию ждать...

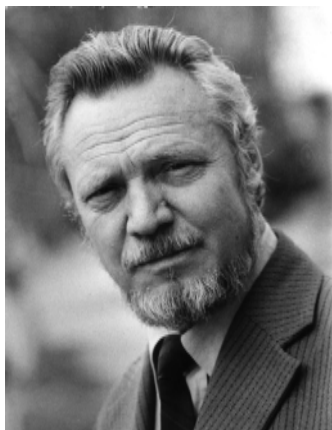
С печалью присев у стола,
Напрасно ты смотришь с упрёком:
Мне осень женою была
Той ночью с притушенным оком.

В тумане тот голос затих,
Но видятся жёлтые косы.
Звенят на ладонях моих
Её колокольчики-росы.

Чтоб встретить её в ковылях,
Я шёл по стерне километры...
Бунтуют в моих волосах
Её ошалелые ветры.

Мы время проживаем, как в угаре,
Решая сделать главное – потом.
А сердце, насмехаясь, вдруг ударит,
Как в летний вечер рыбина – хвостом.

И сразу к небу бросится дорога,
Холодный пруд лишится берегов...
И что с того, что будет очень много
В твоих глазах спасательных кругов?



Евгений КОЛЕСНИКОВ

ИНЫЕ ДНИ

Новые стихи

СВЯТИТЕЛЬ

Я, сошед со степного порога,
Постигал во добре, не во зле:
Не играйте вы, люди, – о, в бога, –
Мол, один он всесвят на земле.

Ибо вы на земле – человеки,
Сотворённые сами собой.
Потому-то вы страстны навеки
Жить вершимою вами судьбой.

И вершил я свою – только вышло
Больше чёрных, чем белых полос
На терновом бытѣ, словно дышло
Шло на всхолмье, а то под откос...

Знаю, тяжек пред вышним порогом
Грех творенья блуждающих схем:
Грешен я – перед кем? Перед богом...
Ну, а бог, он всесвят – перед кем?

Предо мной? Но его я не видел
От рожденья до страждущих дней

Постиженья: бог – это не идол,
А святитель судьбины моей.

СУДНОЕ

Я днём живу заботно и греховно,
А ночью судно сам себя казню
За то, что не рождён под знаком Овна,
А Козерога – к судному огню,

Что изжигал меня на млечном свете
Под вербою у копотной избы,
Над коей меркли звёзды – божьи дети,
Не знавшие своей земной судьбы.

А Овен – Козерог, они рогаты...
Увы, бесплотно им рога даны.
Наступит срок – не будет вербо-хаты,
Да и земли под ней... Иные дны.

РАЗУМ

Мне разум дан такой – ну, извините! –
Всевышним или матерью моей:
Мне всё одно – витаю ли в зените,
Взлетаю ли со дна... А что милей –

Зенит иль дно? Мне видится – равнины
Они, а возлетанья на плаву
При шторме, где все волны не ревнивы
Друг к другу – дно одно... Я тем живу.

КАРА

Строка к строке... Я думал, не взрываются
Они, творенья духа, но они

Дымятся и горяще вырываются
Из ночи в день... И снова ночи-дни...

В ночном бессонье, словно в адском пламени, –
Жизнь такова черна или бела, –
Меня терзает жгуче дыба памяти
О том, как мне судьбина душу жгла.

А как там жгла, в том мире жизнелюдия, –
По доброте иль тяжести грехов?
И вот валюсь среди земли полуденно,
Иссеченный осколками стихов.

А крови нет – позапеклась на истине,
Что нет грозы средь радужной тиши.
Но полдень – гром... И потому я истово
Иду на дыбу – за помин души.

И поднимаюсь со земли: О, боже мой,
Да мало ль на земле лихих годин?
...Так, я ступаю по тропе, исхоженной
Безглавием всесветных гильотин.

СУДЬБА

Светлане Георгиевне Сусловой

СЕНТЕНЦИЯ:
Личность посвящения
Еще не есть персонаж.

Светлана Георгиевна, словом испытано:
Вы – классик и стоик бытья-бытия.
А те, что непитаны, – с долею слитые,
Их думы есть Ваши – одна ль колея?

Да пусть припадут к хрустальному родниковю –
Испить, что таит родниковое дно.

Светлы родники... Живы ль смертною кровию –
Изведать векам... Ну, а Вам-то дано?

Дано потому, что горят, словно пламенник,
Вершащие суть: жизнью жгуча строка.
Но есть наважденье: где будет Вам памятник,
А боле – к чему возгласима рука?

Вестимо, познавшие пажить несжатую,
А рядом – гадальный ромашковый луг,
Увидят и руку, ко сердцу прижатую,
И слово – к груди, где извечно: тук-тук.

Но здесь же и грёза, судьбой неизбытая, –
Где озеро лёта и тишь-бурелом,
И молния – вкось, ну, а лебедь подбитая
Всё машет и машет, и машет крылом.

Во имя чего? Да во имя летания
Над озером жизни, где синь-миражи
Колышатся явью – неведенье тайное.
А что под ладонью – свеченье души.

ВЕЧНАЯ СТЕЗЯ

Я тоже был как Ксения Собчак¹ –
И несть числа подобным этой львице, –
Млад и цветущ и при цветных свечах
Пил коньяки, как воду из криницы.

Года – вода... И верное кольцо
Спадает с пальца, оседает тина
На дно души, и вялое лицо
Секут морщины – злая паутина.

Но вновь взрывают музыкою свет,
Пульсирующий в тени – ой вы, сени...

Я что-то понимаю или нет:
Знать, понимаю... Но причем здесь Ксения?

МЕДАЛЬ

Медаль, она – не тень кольца,
Две стороны – знак благочинства,
Как два задумчивых лица
При постиженьи двуединства.

А двуединство – не бревно,
Его поднять – не жить в навете.
Жизнь – пытка жизнью, что равно –
Постичь молву о тьме, о свете.
Щедра земля: цветёт миндаль,
Благоухают словопренья.
И мы с тобой – одна медаль
На лацкане миротерпенья.

А вдруг и это не предел,
И некие – во злые Леты –
Придут спецы заплечных дел
Сорвать лицо, как эполеты.

Ведь мир – извечное кольцо:
Жизнь – смерть... Не лики на иконе.
Но ликам равное лицо
Проявится на небосклоне.

Проявится и тем права
Заявит на своё спасенье.
Что на миру? Растёт трава
Бытья с косою опасенья –

Она сверкнёт... Нет, я таю
Не опасе... Медаль живую
На обнажённую твою
Грудь возлагаю – и целую.

ПОСЛЕДНИЙ

Я знаю, что я есть, и знаю, что не есть я, –
Весь мир – передо мной, и я – пред ним как есть.
Жила одна душа, не знавшая бесчестья
И знавшая исконно, что такое честь.

Душа и есть она – ах, то есть ты, на плечи
Желанная упасть мне, мнящему о том,
Что есть ещё душа, могущая на сечи
Идти – да с кем? со мной? – Да, есть же суший дом.

Дом, где я жив. И ты. И сын – всех дум наследник,
Рождённый в славном храме – страсти шалаша.
Всё славно на миру. Но я-то из последних
Ниспосланных спасти то, чем жива душа.

Душа жива, а чем? Да вечностью земною,
Заветностью твоей любви – на всей крови
Земной, то есть моей, твоей, нетленной мною,
Стоящим на земле – на всех китах любви.



Алтынай ДЖУМАНАЗАРОВА

Чешуя вмерзает в черный лед,
Подустват от битвы против всех.
Нас тоска по равному грызет,
Нас июнь затаптывает в снег.

PR

Не выходит вот жить по правде в такой-то лжи...
Не суть важно, однако. Счастливы все и сразу.

Мои мальчики точат слова-ножи,
Мои девочки – сеют и жнут заразу,
Мои руки спрятаны за спиной,
По следам – липко-красное на паркете...

Буду думать, что Отче сделал меня такой,
И что он гордится моими рейтингами.

Купи себе противоаварийный тупик,
Раз остальные исхожены поперек.
Два – устала давить в себе дикий крик.
Три – не копятсь смыслы впрок.

Ну какие стены, деточка? Так нельзя:
Строить, после – влетать с двухсот.
Выковывать счастье, вытачивать, вырезать,
И загонять в висок.

Купируй эту усталость на грани фола и бед,
Соберись и езжай в свое завтра.

Выхода нет.

мне ставили голос, меня просили молчать,
меня стригли наголо, мне заплетали сто кос.
я выбегала босой и раздетой в мороз,
мне доверяли хранить золотую печать.

я говорила с деревьями о дождях,
смело шагала в ночную воду с моста,
мне говорили, что можно меня листать –
не перелистать, запутавшись, заплутав.

мой мир был огромен, в нем плавилось волшебство.
мне снились монахи, учили меня во сне.
теперь моя жизнь умещается в паре дней,
когда я не вижу офисный монитор.

все остальное время я просто есть.
мне вечером тишины б, а утром – такси и чай.
и вам только чудится в этом стихе печаль.
чего-чего, а печали в нем вовсе нет.

не Пенелопа

ты заплетал мне косы
косы нашли на камни
нитьями золотыми
плакал, ласкаясь, ветер

позже ворвался в осень
злился ночным цунами
только кто остановит
гордого морехода?

сколько чужих причалов
надо тебе увидеть
чтобы домой вернуться
мудрым и верным мужем?

время готовить ужин
время точить кинжалы
волосы треплет ветер
мы тебя не дождемся

с грустью и с нежностью

Вы – тёплое светлое облако
воспоминаний, улыбок и тихой верности.
грань между явью и сном настолько тонкая,
что, просыпаясь, Ваше присутствие чувствую
с грустью и с нежностью...

Из касты потерянных.
Вырванные из контекста.

Не очарованные пыльным земным счастьем.
В любом месте, в любое время –
немного не к месту.
Над светом их глаз ни Судьба,
ни Боги не властны.
Ни покидающие своих кораблей капитаны.
Командиры, знающие, что подкрепление не успеет.
Но улыбающиеся.
Лучшие всегда уходят рано.
А мы остаёмся.
И приспособливаемся, как умеем.

бумагомарание. глагольные рифмы.
взаимозависимость. до одури.
я – стакан с водой, и во мне бури.
мой бумажный кораблик налетел на рифы.
мой бумажный кораблик такой отважный.
мой бумажный кораблик такой бумажный.
риффы вокруг. риффы. риффы.

собираемся каждое дерьмовое утро
на клей – где тонко. только не нюхать -
достаточно дурных привычек, родная.
выбираемся из антиутопий Воннегута,
мечтая уткнуться не в плюшевое брюхо
медведя из раннего детства, мечтая
в единственно нужные руки -
сильные, теплые – мед, лето,
каждой впадинкой: профиль, анфас...
только не от тянущей жилы скуки,
только не в порядке минутного бреда,

только не так, как сейчас...

Незаметные взгляду цепи,
Чужой фрагментарный шёпот,
Не обидят пусть, не зацепят
За крыло, прерывая полёт.
Расправляя устало крылья,
Безразлично посмотришь в небо.
Может, так отплывали флотилии,
Обречённые на победу.

Разобрали Писания на цитаты,
назначили правых и виноватых,
научились не удивляться путам
улыбчивых современных брутов
в мире: а) дураков и начальников;
б) шутников с глазами печальными;
в) атеистов с крестами и чётками.
в мире, где всё условно, но чётко,
где за металл покупается будущее,
где беззащитны в любви своей любящие,
в мире взаимного псевдо участия
живём и делаем вид, что счастливы.

Ты отражаешься в чужих глазах,
И наполняешь светом дом чужой,
А я спешил куда-то в поездах,
Когда был должен счастлив быть с тобой.
Ты даришь небо, солнце, облака
Тому, кто поступил меня мудрей,
Жизнь ваша – полноводная река,
Моя же – высыхающий ручей.
Ты бережно очаг его хранишь,
Верна ему и наяву, и в снах,

Но знаю: никогда мне не простишь,
Что отражаешься в чужих глазах.

Это все.
Все, чем ты мне не стал.
Холод скал,
Неувиденных мною,
Крики чаек над темной водою,
Безмятежности хищный оскал...
Это все.
Все, чем ты мне не стал.
Первый луч над горой невысокой,
Одинокость речного потока,
Над которым не будет моста...
Это все.
Ты твердишь, что устал,
Что у нас будут новые дали
Много позже.
А я умираю
От тоски своей цвета песка.

Такие мысли посещали лучших
В последние минуты перед болью.
И знаешь – лучше ты меня не слушай,
Когда решу их разделить с тобою.

Средневековье. Эхом заблуждений
Толпа на площади. Костёр. Чужие лица.
И больше нет надежды на спасенье...
И больше нет желания молиться
Тому, чьи дети стали палачами.
Хранит сознание ясность, но не веру.
Последняя опора за плечами -
Горящее со мною вместе древо...

Мои слова горьки и безрассудны -
Я научилась лгать и бредить правдой.

Ведь только Он велик и неподсуден,
И лишь Ему любви земной не надо.

Уединенье. Стены, стол и свечи.
Холодный сумрак длинных коридоров.
И давит одиночество на плечи,
А значит – Он не стал моей опорой.
Священных книг тяжёлые страницы,
Привычные смирения одежды...
Но сердце живо. Я люблю молиться
О том, чтоб ты был счастлив, как я прежде.

Седое небо помнит запах гари,
И плач звенит ночами в тихих кельях...
А мы с тобой навечно потеряли
То важное, что было до неверья.

хэппи-энда не будет
брэнди
брэдни
брэнды
что угодно,
только не хэппи-энды...
что угодно
в какой угодно позе
на праздник – вялую розу
только не вечное
тёплое
светлое
за иллюзию счастья
мне платить нечем...
некогда и незачем
тратить себя беспечно
мои руки не нашли покоя на твоих плечах -
не те руки, или не те плечи
цейтнот, фобии, страх перед вечным
а так хотелось сказать:
«держи меня крепче...»

«ЛК» представляет читателям подборку стихотворений своего нового автора – известного московского скульптора Игоря Лукшта, выросшего в Киргизии, но состоявшегося в России как художник, как наставник молодых дарований, пробующих свои силы в изобразительном искусстве. Как поэт он представит впервые именно на земле, где в шестидесятих годах прошла его школьная пора возмужания. И тем не менее, по нашему мнению, маститый скульптор может дать мастер-класс профессиональным поэтам в области ...рисования образами, лепки звуками, ваяния Словом.



Игорь ЛУКШТ

ФЕНИКС

Полумрак – полусвет...

В тишине мастерской только уличный гвалт детворы,
редко скрипнет в полу полустёртая старая плаха.

На окне сухоцвет

зноем крымской степи, чабрецом и лавандою пахнет,
да сурово станки мои ждут окончанья великой хандры.

Отче солнечный мой,

здесь над глиной густой, чуть дыша, замирает душа,

всё глядит сквозь пласты, всё твердит о неявленной сути.
Глина ждёт под плевой,
но закон её форм ускользает подвижною ртутью
сквозь ладони мои, простотою своей ворожа.

Этот тайный закон,
этот вечный мотив ведом камню и зверю в горах,
рыбе в синих озёрах и древу седому, и небу,
в шорох трав он вплетён...
Обрету ли его в ремесле каждодневном и хлебе,
тихим по-во-ды-рём на лис-тах, на кам-нях, в письменах?

Ждут мои стеллажи
и круги поворотные – скрипа, движения ждут,
стынут жала стамес, дремлют стеки и плоть пластилина.
Не торопят в тиши
мои чада родные – из бронзы, из гипса, из глины –
терпеливо душе
возродиться из пепла дают.
Над разлукой глухой
и раздраем времён, над страстями великих систем
опалённые крылья
из дымной золы простирает...

Белый свод мастерской
в небесах растворён –
там,
немые уста отверзая,
феникс светлый летит
над уныньем
и небытием...

ШАНСОНЬЕ

Дай волю, нищий шансонье,
гулять картавящей строке

по медной медленной струне.
Забудь о звонком пятаке,
летающем в мятую жестянку,
и сердца стынущую ранку
прозри в фиалковом зрачке.

Как придорожная трава,
как сон пылящихся камней
просты гортанные слова...
Но гул сиреневых ветвей,
но майских гроз дрожащий воздух,
но лепестки пионов поздних
и солнце поздних алтарей

любви... но скорбь осенних дней –
всё распахнёт, разбередит
мотив неспящих площадей...
Не сетуй, сердце, пощади
певца за призрак расставаний
и на язык воспоминаний
шансон его переведи.

ПЕРВОЕ ВОСПОМИНАНИЕ ДЕТСТВА

Не помню мартовского плача
великого и как убрали Берию.
Не ведаю, как ликовали тюрьмы,
и страна, очнувшись, выходила
из кровавых снов анабиоза,
хотя студёное зловонное дыханье
эпохи черноусого тирана
я ощущал в своей судьбе десятилетия.

Пятидесяти трех годов отметина столетья,
всего лишь третье лето моей жизни
и первая глубокая зарубка
на древе памяти. С могучими ветвями,
узорной кроной, уходящей в поднебесье

грядущего, с глубинными корнями,
проросшими во тьму тысячелетий,
сознания моего дремучий ствол
прорезал первый шрам переживанья.

Пустяк, былинка – маленькая брошь
на белом платье маминой подруги,
фосфоресцирующий розовый цветок!..

По трезвым меркам нынешних времён,
к нам радиоактивный изотоп
струил небезопасное свечение,
но по наивному неведенью тех лет –
забавная и модная игрушка,
невинное свидетельство прогресса
огромной процветающей страны.

Но то страна. В растворе детских глаз
моих все выглядело несколько иначе.
В косматом космосе, глухом и непроглядном,
в пространстве чёрном комнаты моей
трепещущие зёрна расцвели
непостижимо крошечных галактик,
заполыхали медленным огнём,
бросая отсветы и мягко озаряя
глаза мерцающие, птицу тонких губ,
глубокий вырез, ствол высокой шеи.

И Мать Вселенной, Млечная Звезда –
ушедших поколений древний идол –
со мной заговорила в тишине,
наполненной таинственным свечением.
Ни слова, ни ползвук не издав,
замороженный совершенством мира,
я растворялся в ледяной волне
испуга, изумленья и восторга...

Я в этой комнате стою и посейчас
трёхлетним потрясённым мальчуганом.

ЗАКОН СИЯЮЩЕГО МИРА

Антону

Мне снился сон...

Вечерний луч по сумеркам времён
проводит косяки пурпурных кобылиц,
и в зеркалах озёрных вод
плывут они, как розовые льдины,
и в воздухе густеющем сквозит
печальный зрак багрового светила.

Мне снилась незнакомая земля:
ни шелеста, ни свиста, ни ответа.
Глухие, опустевшие поля
столпами рдяными стихающего света
иссечены. В навогшей тишине
по пустырям, по сизым пепелищам
мать птицею кричит
и след мой ищет,
и, горькая, стенает обо мне,
и крылья простирает надо мной...
Я смерчем дымным, ржавою золой,
палящей мглой иду по руслам рек,
мету долины. Долгий этот бег
по гребням изувеченных камней
над стылым прахом родины моей
ничто не в силах прекратить
вовек!

Пыль, ветер, гарь – пустынная свирель...

Я разомкнул глаза. Холодный хмель
ночных растений лился через дверь
к созвездиям плывущего балкона.
Вздыхала роща гулко и бессонно.
Трещали влажно сочные листья,
в сплетеньях трав косматые кусты
макали гривы в молоко газонов,

цикады сумасшедшие кричали,
позванивали мощные спирали
галактик. Мириады звёзд,
перед молчанием которых, нем и бос,
стоял, в округлые орбиты замыкали
пространств кривых немислимые дали,
и был закон сияющего мира
так прост.

От ливнями умытого порога
я шёл с мольбой. Туманилась дорога
к далёкому полуночному богу.
Стихала ночь. И в колыбели малой
дитя моё, как облако, дышало.

ОКТАБРЬ

Из триптиха «Покровское-Стрешнево»

Роща в сумрачной дрёме. Потоками с хмурых небес
нистекают стволы сквозь развёрстые, мокрые кроны,
и влекутся извивы корней по шуршащим попонам
нежно-рыжей листвы, устилающей землю окрест.

В этой зябкой прохладе, в свечении влажных ковров,
чёрном фетре стволов и тоске сиротеющих веток –
листья клёнов неслышно скользят, миновавшего лета
легкокрылые птицы, любовные письма ветров.

Их страницы лежат на горбах колченогих скамей,
их узор золотой – на тряпицах поникшей крапивы.
В гамаках перепончатых крыл, словно стая вампиров,
лоскуты бузины кровоточат на пиках ветвей.

Редкий шорох шагов, лай собак, перестук поездов...
Острова бурелома, деревья в нашествии крапа
зеленеющих мхов и ракушках древесного капа,
как остовы Летучих голландцев в морщинах веков.

Синий стелется дым от костра над печалью берёз,
прелых трав и земли отсыревшей дурмящий запах,
и холодное солнце неслышно крадётся на запад
в сером войлоке туч, как людьми обижаемый пёс.

ПЛОТНИКИ

Огурец да горбушка. Умыться студёной водой.
Зычный крик пастухов, звон бичей, утром холод бодрящий.
Репняки вдоль плетней, конский щавель да хрен вековой,
что ни редьки, ни пыли дорожной, ни жизни не слаще.

Обезлюдела даль. На холмах свечи белых церквей,
лишь стада добирают к зиме остяки да солому.
Откурлыкал, отплакал последний косяк журавлей.
Что ж, и нам на крыло. Расстаёмся с построенным домом.

Час пришёл вбить последние гвозди под стрехами крыш,
и коньки отстругать, и крыльцо оторочить резьбой.
Над осенним прудом шелестит остролистый камыш,
деревя осыпают листву под белёсой звездой.

А давно ль по весне волоокой вязали венцы,
городили леса и катили могучие брёвна?
Ритуал ежегодный вершили рабы и жрецы:
топоры к молодым небесам вознося малословно,

извергали щепу и шершавыми шкурами щёк
прижимались к сухому пахучему белому дереву,
заклиная его, чтоб удача пришла на порог...
Щебетали фуганки свои шебутные напелы,

В пересверках стамес проступали проёмы дверей,
принимало буравы дрожащие хвойное тело,
на Казанскую балки легли – солнце бьёт из щелей,
ходит юный настил под ногами земных корабелов.

По ночам мы, смывая усталость негрустных трудов,
белозадыми рыбами прыгали в звёздное небо,
отражённое в чёрных овалах бездонных прудов,
и сидели на пнях, и пугали русалочью небыль.

Эх, мужицкие цацки: топор да ночной костерок...
Лето шаром катит. И не раз под седыми косцами
трын-трава полегла. Подошёл незамеченным срок –
мы шатры из стропил возвели, словно арки, над нами.

И плывём в облаках, как скрипучий Корабль Чудаков,
в небе птицы летят, плещут радуги, блещут зарницы,
а по тропам бегут среди ив, по бархоткам лугов
ребятишки и псы, задирая весёлые лица...

Затрещали сороки – морозу осеннему быть,
урожай в погребях, небо снегом грозит серебристым,
тянут баньки дымком...

«Дом, прощай же...»

И дверь притворить,

навсегда унося на губах этот запах смолистый.

БОСОНОЖКА

С долготерпением улит,
спокойно, тихо, непреклонно,
заботы будничной пелёна
душа, как прачка, ворошит.

Но в звёздных пажитях ночей
она, робка и босонога,
ждёт хладного дыханья Бога,
вселенский шёпот мнится ей.

Бредёт ли тропами, шурша,
крыло ли нежное расправит...
Душа, душа, колючи травы,
дожди студёны, госпожа.

В скитаньях, девочка моя,
любви алкаешь, словно хлеба,
в пространстве меж землёй и небом
нет бесприютнее тебя...

РАЗВАЛИНЫ КРЕПОСТИ КАФФА

Морские ветры ранами расщелин
изрыли кладку каменную рвов,
и сдержанно встречает чужаков
чертополох у древней цитадели.
Венозных листьев хрусткие венцы
он целит в небо серое угрюмо –
шипов воздетых бронзовые клювы
скрывают войн увечные рубцы.
И сколько дождь осенний ни кропит
сады в округе, сурик ржавых кровель –
не вытравить из кладки запах крови,
седую гарь обугленной степи,
пороховую копоть не замыть...
Печальноокий ястреб клёкот с неба
роняет на щербатый мшистый гребень
стены, где мокнут каперсы и сныть.
Спит грубый камень башен и куртин,
бугрятся глыб обветренные скулы,
в суровой отрешённости замкнул он
уста печатью шрамов и морщин.
В тревожных снах – бомбарды латинян,
турецкий меч и сабли чингизидов,
ногайский лук над дымною Тавридой,
штыки полков и мерный марш славян...

В пролом стены внизу рокочет море,
зелёных волн холодные валы
несут на гребнях поздние хвалы
руинам Каффы в воинском дозоре.

У лодок рыбарь чинит невода,
на башнях трепет вымпелов полынных...
лишь чаек крик, да шелест над руиной –
осенних ветров скорбная дуда.

ОРКЕСТР В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФРУНЗЕНСКОМ ПАРКЕ

Над парком музыка несётся,
за дерева катится солнце,
народ валит густой толпой.
Пойдём скорей и мы с тобой
к эстраде, где по воскресеньям
творится светопредставленье –
оркестр играет духовой.

Маэстро плещет у пюпитра,
колышется ахейской гидрой
затылков крепких полубокс.
Благоухает пряно флокс,
gran cassa ухаёт как филин
главою гулкой без извилин,
бренчат тарелки звонко: "Поккс-с-с!"
Бас-геликон рокочет сладко –
трубач с косою нависшей прядкой
щёк раздувает пузыри –
воздушный вихрь струит внутри,
и голос медного самца
волнует женские сердца
в лучах чахоточной зари.

Как богомол, худой и длинный,
его сосед сидит картинно,
глаза таращит, верхогляд,
рукой гребёт вперёд-назад,
тромбон кулисою кривой
черпает жадно пред собой

мошку и розовый закат.
Певец любви – гобой альтовый –
флиртует с флейтами. Фартовым
пижоном блещет флюгель-горн
среди труб изящных, толст и горд.
Полощет звук в роскошном горле,
сыпает ноток пышный ворох
кларнет, клюваст и остроморд.
Громадой золотою туба
гудит печально и угрюмо,
с отдышкой цедит: "Бу-бу-бу",
кляня тяжёлую судьбу.
Ей пыл и страсть сжимают грудь,
ну, помогите ж, кто-нибудь,
утешьте пышную трубу!..

Горит стручком над медным тельцем
склерозный нос её владельца.
Родня охотничьих рогов,
поют валторны – томный рёв
плывёт улиток бронзо-спинных.
Мужи, им пальцы в пасти вдвинув,
соски целуют мундштуков.
Шкеты к ним взглядами прилипли,
хохочут, бьют чечётки дриблинг,
жуют, коварные, лимон –
слюноотечением поражён,
оркестр сникает. Но дружина,
порядка тайная пружина,
шпану с позором гонит вон...

В фонтанных брызгах, у водицы
так сладко пахнет медуницей,
и табачок нежнейше-бел.
Амур пускает груды стрел,
сердца доверчивы и глупы...
Зажжёт звезду ль небесный купол,
луна ль прольёт лилейный мел –

под вальс-бостон тягуче-шаткий
шуршат широкими клешами
в рубахах вольных апаша
мужчины. Строгость дам круша,
синкопы рвёт седой фагот,
лабая медленный фокстрот...

Из детства в парк бежим, спеша:
к свободе тянется душа.

УТРО

Начинается свист в репродукторе, гимном чреватый,
в сером сумраке комнаты ходиков медленный бег.
Ветер тронул крыло занавески. Диванчик дощатый
заскрипел и вздохнул, полный снов и предутренних нег.

Рассыпается дробь – хлебовозы считают поддоны,
юный хлеб из пекарен ночных во дворе задышал.
Вечный уличный страж, дворник, машет метлой под балконом,
прах столетий метёт, по асфальту соломой шурша.

В сонном омуте крыш голубь горло зарёю полощет,
липа старая смотрит в открытое настезь окно,
чуть качается лист с золотистой прожилкой и ропщет
на угрюмость ночей, на прохладу и сумерки, но

проливается свет. Чиркнет спичка, эмаль в синих перьях,
заворчит незлобиво кофейник на смуглой плите,
запах гренок струит. Как ребёнок, под сводами кельи
спит с улыбкой пиит – в пустоте, в наготе, в чистоте...

Мама латку кладёт на лохмушки потёртых хэбэ.
Над тетрадь стихов, отрясая лиловые кисти,
наклоняется ветка сирени в немой ворожке,
из хрустальной воды вынимает зелёные листья...

ПУБЛИЦИСТИКА

Александр ИВАНОВ



НЕ УМИРАЙ РАНЬШЕ СМЕРТИ

Беседа гл. редактора «ЛК»
с профессором
Эрнстом Акрамовым

– Не первый год бывая в твоём, Эрнст Хашимович, кабинете, скорее похожем на музей своего хозяина, я заприметил скромно прижавшиеся к плинтусу «ушастые» гири, которые явно выбиваются из созданного здесь интерьера: на стене твои фотографии с президентами СССР и Кыргызстана, с выдающимися учеными, артистами, дипломатами и крупными предпринимателями, на столе и тумбочках – книги с дарственными надписями их авторов и множество сувениров причудливых форм и размеров от исцеленных тобой больных. И вдруг эти гири с потертой краской на «ушах». Откуда они? Или это муляж? Или кто-то решил пошутить, подарив их знаменитому профессору к семидесятипятилетнему юбилею: мол, все можешь, а это-то уже не по зубам? В юности ты блистал в спорте, многие годы был в тройке лучших гимнастов республики, но потом, насколько мне известно, врачевание поглотило тебя полностью, ни на спортзалы, ни даже на то, чтобы обзавестись семьей, времени у тебя не оставалось.

– Видишь ли, – голос профессора тих и раздумчив, его руки расслабленно покоятся на подлокотниках кресла, в полуприкрытых тяжелыми веками глазах угадывается некая отстраненность. Только что он вернулся в свой кабинет после сложной операции и находится в пограничном состоянии: разговаривает со мной, а мыслями, судя по всему, нет-нет да и возвращается в операци-

онную. – Видишь ли, каждому человеку дарован природой определенный, но не одинаковый – в зависимости от генетического кода – запас прочности. И каждый смолоду распоряжается им по своему усмотрению. Один – в сторону увеличения: если занимается спортом, избегает вредных привычек, другой, наоборот, в сторону уменьшения: если курит, пьет, ведет беспорядочный образ жизни. Проходит время, и к годам пятидесяти, а у кого-то и гораздо раньше, та же природа с разной степенью активности начинает минусовать этот запас прочности. Не спохватишься, прозеваешь точку невозврата – и все, привет горячий. Летит иммунитет, наваливаются болячки...

Какая, спрашиваешь, у меня самого наследственность? Средняя. Ни отец, ни мать не были долгожителями. Меня здорово укрепило увлечение спортом. Оно приучило соблюдать режим и отсекал все, что мешает быть в хорошей форме. К



тому же с детства я не люблю врать. Ведь как многие врачи? Больным они говорят о вреде курения, пристрастия к спиртному, а сами нередко страдают и тем, и другим. Я так не могу. Начинать надо с себя. Лишь тогда ты имеешь право кого-то учить, кому-то советовать. Еще в древности сказано: человека создал соблазн, устоял – шаг к человеку. Врачу больше, чем кому-либо, надо уметь не поддаваться дурным соблазнам. В плане самоограничения наша жизнь чем-то схожа

с жизнью служителей духовных храмов. Только они служат богу, а мы – больным.

Ну, так вот. Несколько лет тому назад я почувствовал, что силы мои стали потихоньку таять. Пока, кажется, не очень-то заметно для окружающих. Операции у нас длятся по пять-восемь часов. Мне и по одиннадцать приходилось работать за операционным столом. Не всякий выдержит просто простоять столько. А мы же оперируем, напряжение высочайшее, каждое неверное движение может стоить жизни больному. Конечно, врачу следует досконально, назубок, как таблицу умножения, знать топографическую анатомию и массу других врачебных вещей. Конечно, необходим большой операционный опыт, который нарабатывается годами, десятилетиями. Но и физическая составляющая для него тоже важна. Очень важна.

Я стал заниматься гантелями, потом перешел на вот эти пудовые гири. Даже не помню, откуда они в моем кабинете появились. Поначалу их место было вон там, в дальней углу, под раковиной, а теперь не стыдно и на виду их держать. Упражнения с ними стараюсь делать умеренно, без перегрузки. Чтобы сердце усиленно, но не на пределе работало. Тогда и сосуды, и весь организм укрепляются. В день от часа до полутора на это уходит. Когда мышцы поют, дряхлость отступает.

– И все-таки возраст есть возраст. До каких лет хирург, я имею в виду настоящего профессионала, имеет право оперировать?

– Все это индивидуально. У нас как у альпинистов: надо не только покорить вершину, подняться на высоту, но и постоянно подтверждать свою способность к новым восхождениям. А еще я бы сказал так: взойти на вершину трудно, однако гораздо трудней всю жизнь хоть по чуть-чуть прибавлять и прибавлять в высоте. Перестал это делать – значит, пора, образно говоря, захватить свой скальпель.

Выдающийся ленинградский хирург Федор Григорьевич Углов, проживший более девяноста лет, сам оперировал до конца дней своих, почти в таком же возрасте ушли из жизни оперирующими хирургами прославленные академики Николай Михайлович Амосов и Алексей Александрович Шалимов. Амосов даже сам разработал весьма любопытную систему физических нагрузок, которую пропагандировал в своих статьях и книгах.

– Профессионализм, мастерство хирурга, безуслов-

но, на первом месте. К тому же, находясь в хорошей физической форме, он способен всем своим видом внушать больному мысль о необходимости быть здоровым и крепким, добавляет ему уверенности в благоприятном исходе операции, лечения. А как остальные члены твоей команды? Распространяется ли это на весь медперсонал отделения? В какой степени?

– Больной вопрос, – Эрнст Хашимович вздыхает, качает крупной седовласой головой. – Молодых у нас много, но вот беда, они не приучены к спорту, физкультуре. Подергаться, подрыгаться на дискотеке – тут их медом не корми, а сделать утром полноценную зарядку, чтобы на весь день бодрости хватило, – извините, им это не по нутру. Считают, что здоровья, сил у них не меряно. Ничего, такие иллюзии быстро развеиваются. Приглашал потягаться со мной в упражнениях с гириями. Слабо! И это при разнице в возрасте чуть ли не в полвека. Говорю: стыдно? Смеются. Ну что тут поделаешь... А вот относительно курения, выпивки я завел в отделении строгий порядок. Сразу предупредил: если замечу, что кто-то курит или выпивает, тотчас выгоню. Даже если он вчера выпил, а сегодня пахнет перегаром. Думали, Акрамов шутит, пустые угрозы. Но после одного-двух случаев убедились: как сказано, так и сделано. Больше я с этим не сталкивался.

Есть для нашего брата-медика заповедь: «Врачу – исцелился сам». Смысл ее многообразен. Применительно же к тому, о чем я веду речь, заповедь эта расшифровывается просто: освободись от пороков – только тогда ты врач. Иначе ты не достоин быть им. Врач и порок – понятия несовместимые. Скажешь, я излишне категоричен? Но иначе нельзя. От отношения больного к врачу зависит его выздоровление. А как он может относиться, когда врач сам хилак, когда он неряшлив, когда от него, упаси боже, несет табаком или алкоголем?

– Известность Акрамова, его авторитет огромны, тут не поспоришь. Доктор медицинских наук, Заслуженный врач, Заслуженный деятель науки, лауреат Госпремии в области науки и техники, экс-депутат общесоюзного и республиканского парламента, а награды... Тут перечислять устанешь. И, как венец, Герой Кыргызстана. Вряд ли кто из врачей страны пользуется среди больных столь высокой популярностью. Но больница областная, расположена у черта на куличках. Зарплаты сотрудникам едва хватает,

чтобы концы с концами свести. И все-таки костяк твоей команды сохраняется уже не меньше десятка лет. Что, потвоему, держит их рядом с тобой? Желание научиться мастерству, перенять бесценные крупицы опыта? Но какой ценой? К тому же характер у тебя не сахар, чуть кто допустил оплошность, такой огреешь тирадой, как плетью, что человека дрожь берет. По мнению одной из твоих замечательных сотрудниц, Мээрим Молдошевой, три года работы с тобой можно считать за десять, а из всего набора слов, которыми ты пользуешься, самым любимым является – работа. Или она сгущает краски? Впрочем, чего сгущать, когда в больнице ты круглосуточно, даже комнатка для сна у тебя здесь же, под боком.

– Что их держит? Откуда я знаю? – Акрамов чешет затылок, у него такое выражение лица, будто все это для него тайна, загадка, большой секрет и он никогда даже не задумывался, не пытался для себя выяснить, почему лучшие врачи отделения многие годы работают с ним, а не разбегаются по более престижным клиникам с более высокими окладами. Только глаза выдают: бесенята в них отплясывают что-то вроде гопака. Прикидываться Эрнст Хашимович мастак. – А действительно – почему? Надо бы их как-нибудь поспрашивать. М-да... Хотя... все, пожалуй, упирается в меня. Моя потрясающая скромность не позволит лукавить. И потому без обиняков скажу: такого опыта в хирургии как у меня ни у кого в республике сегодня нет. Объясняется это не столько какими-то исключительными моими качествами, сколько тем, что я постоянно, круглосуточно в больнице, постоянно, неотрывно занят своим любимым делом – хирургией. Продолжается это более полувека. Вот и посчитай, каков мой операционный опыт. Для меня излечение больных не просто цель моей жизни, а главная, единственная цель. Только у этой цели я на службе, только ей подчиняю и время, и знания, и силы мои.

Так вот скажи, разве это не притягивает тех, кто предан медицине, кому важно достичь в ней высокого профессионализма? Я горжусь многими в своей команде. Впрочем, такими врачами, как хирурги Ольга Игоревна Васильева, Татьяна Николаевна Мищенко, анестезиолог Олег Волкович могли бы гордиться и в других клиниках мирового уровня, если бы они оказали им честь и стали там работать. А Ксения Ручкина и Мээрим Молдошева?

А Бахтияр Кулбачаев и Ярмухамед Абдулбакиев?.. Благодарен судьбе, что они уже столько лет в одной связке со мной.

Это настоящие врачи-интеллигенты. Кстати, знаешь, чем они отличаются от врачей-сантехников? Врачи-интеллигенты приходят на операцию в белоснежном халате и покидают операционную на столь же безукоризненно чистом одеянии. А у врачей-сантехников вечно оно бывает забрызгано кровью больных. Потому что первые в силу своего профессионализма проводят операцию бескровно, а вторые до этого, увы, не доросли. Настоящий хирург, который занимается операцией, словно изящным искусством, должен работать в чистых (резиновых) перчатках, не теряя при этом даже капли крови больного. Это тоже является признаком высокой хирургической культуры, истинного профессионализма.

Люди обычно считают, что если врач – хирург, то он может делать какую угодно операцию. Но это далеко не так. У каждого хирурга есть свой диапазон операционных возможностей. Расширяет он их с помощью опытного ассистента, который ведет, направляет его как слепого котенка, пока тот не достигнет необходимого мастерства. За всеми операциями – мой постоянный контроль. Я отвечаю за все – и за операции, и за лечение. Что ж, порой, бывает, и сорвешься, врежешь кому-то из врачей крепким, забористым словом. А как же иначе? Ведь столько раз объяснял, втолковывал, показывал, наконец, а как коснулось дела – так на тебе, чуть не напортачили. Это недопустимо. На кону человеческая жизнь, дороже которой ничего нет. И непослушание врача пресекается, карается мной жестко и бескомпромиссно. Ни на шаг он не должен отступать от моей установки. Ни на шаг! Отступил – на месяц, полгода или год отстраняю от операции.

– Налицо, уважаемый профессор, диктаторские замашки. А без них никак нельзя? Помягче, поделикатней. Обиженный, оскорбленный врач – это не лучший способ добиваться успеха в работе с больными. Или ты так не считаешь?

– Ох, уж эта мне игра в демократию, когда отсутствует всякая ответственность... В какой-нибудь шарашкиной конторе, от деятельности которой ничего не зависит, пусть царит демократия. Но в больнице, в операционной, где любое отклонение грозит больному бедой, это должно быть исключено. Я признаю только диктат. Не просто мой, личный. Полнейшая, безоговорочная дик-



татура опыта, знаний, умения безошибочно работать. Да, я строго спрашиваю, но ведь мне, именно мне приходится за все отвечать. А насчет обид... Уверен, нет слов, ранящих больше, чем ошибка врача, нет слов, адекватных этой ошибке.

У себя в кабинете я готов дискутировать со своими коллегами. Они могут сколько угодно спрашивать, спорить, возражать, подшучивать надо мной. Я сам обожаю розыгрыши, в том числе и над собственной персоной. Но если дана установка и она касается больного, то будь добр, исполняй ее неукоснительно.

– А ты сам смог бы работать под началом шефа с таким вот жестким характером?

– А почему бы и нет? Только при условии, что он, как профессионал, на порядок выше меня.

– Насколько я помню, в молодости тебе довелось работать под руководством выдающегося хирурга Исы Коновича Ахунбаева. Но это продолжалось недолго.

– Я пришел в отделении грудной хирургии республиканской клинической больницы сразу после аспирантуры. – У Эрнста Хашимовича на переносице обозначилась ветвистая складка. Вопрос мой был для уважаемого профессора не самый приятный, хотя давность лет несколько смягчала его. – Это отделение являлось базой кафедры общей хирургии академика Ахунбаева. Хотел бы сразу отметить, что столь крупного, мощного ученого и хирурга в двадцатом столетии у нас не было и в нынешнем пока

тоже не предвидится. Тогда я мечтал проводить операции по пересадке сердца. Подготовка к этому шла, в общем-то, неплохо. Но произошел случай, который все перечеркнул.

В клинику Ахунбаева прибыл профессор Бураковский, директор Московского института сердечно-сосудистой хирургии. Прибыл для того, чтобы провести показательную операцию по протезированию сердечных клапанов, что в ту пору казалось нам верхом сложности.

Перед этим в мою палату, которую я курировал и за которую отвечал, поместили нового больного, даже не поставив меня об этом в известность. Я прихожу утром, впервые вижу этого больного, и мне передают распоряжение руководства срочно подготовить его к операции. «Срочно, это когда?» – спрашиваю. Говорят: «Завтра». Я возмутился: «Да вы что! К такой операции так быстро не готовят. Я не берусь за это».

Тут же все передали Исе Коноевичу. Он вызывает меня. Вид у него явно недовольный. Повторяет: операция завтра, надо срочно заняться подготовкой больного. И хотя для меня было ясно, что это вовсе не прихоть мэтра, что так складываются обстоятельства, но я уперся, продолжал стоять на своем. Он еще больше помрачнел. И как отрезал: «Мы с тобой не сработаемся. Понял?» – «Понял». Стараюсь держаться, а у самого колени дрогнули. Так вот мы и расстались...

– Не выполнил установку хирурга да еще и какого... Но урок-то пошел впрок? Судя по всему, ты ведь тоже особо не церемонишься, если кто-то из сотрудников перечит тебе, упрямятует, гнет свою линию.

– Я стараюсь объяснять, почему надо делать именно так, а не иначе. Конечно, если позволяет время и есть на то необходимость. Моя задача, помимо всего прочего, учить молодых коллег благоразумию. С врачом, обладающим этим ценным качеством, всегда легче найти общий язык.

– Помню, в прежние наши встречи ты обычно кипел от возмущения, рассказывая, как твои коллеги, связанные с частной практикой, делают бизнес на людских бедах. А в последнее время поутих. Что, уже не сталкиваешься с такими случаями? А, может, даже привык, не обращаешь на них внимания или относишься к ним с философской улыбкой, как к неизбежным издержкам системы?

– Я всегда утверждал, и меня с этой позиции не сдвинуть, что в основе всех деградаций в нашей медицине – рыночная экономика. О каком здоровье нации можно говорить, когда повсюду у нас бал правят деньги? Не разум, не благородство и сострадание, а золотой телец. Этот дьявол протер свои щупальца и в среде медработников. А в частных лавочках – клиниками называть их язык не поворачивается – он властвует с особой силой. Они и создаются ради того, чтобы обдирать население. Министерство здравоохранения их работу не контролирует. Приходит туда больной: «Доктор, у меня вот здесь закололо». Доктор сразу прикидывает, как обчистить его карманы. Самое верное средство – дорогостоящая операция. На нее больному придется раскошелиться по полной программе. Доктор всплескивает руками: «Как у вас все запущено! Надо немедленно на операционный стол! Сейчас только посчитаем, во сколько ваше спасение вам обойдется». Если больной находит требуемую энную сумму, ему запросто делают операцию на здоровом органе. А если нет... Бывает, он прибегает к нам: мы-то оперируем бесплатно. И буквально с порога умоляет срочно оперировать его. Дескать, ему сказали, что если затянуть на день-другой, то он умрет. На лице, в словах – паника. Я спрашиваю: «А сколько времени прошло с тех пор, как вам эту глупость сказали?» – «Ох, уже два дня!» – «И по-прежнему живы?» Больной в недоумении. То ли он жив, то ли уже помер. Мы начинаем лечить, и через недельку, а то и еще быстрее выписываем совершенно здоровым. Без всякой операции. Будучи хирургом, я все-таки исповедую принцип: оперировать надо лишь в крайнем случае, когда терапия оказывается бессильна. Но все ее возможности надо использовать до конца.

– А к самим больным у тебя бывают претензии?

– Хотя больные для нас, как священная корова для Индии, но иногда и они нас «достают». Вот недавно... Привезли его к нам на носилках. Сам даже пошевелиться не может – такие боли. Панкреатит в худшем варианте. Лечение очень сложное, длительное, требующее от врачей каждодневных больших усилий. А сколько и каких лекарств!.. Наконец, вздохнули облегченно: человек будет жить! И он, и его родственники рассыпаются в благодарности. Еще бы, вытащили с того света. Естественно, мы им все досконально расписали: и какой режим, и какое питание. А через полгода этот больной снова поступает к нам в плачевном состоянии. Выясняется, опять сорвался. Стал есть жирное, жа-

ренное да еще и выпивать. Ну, как тут не выразишься на великом русском!..

– А нельзя такого больного заворачивать назад или штрафовать, что ли?..

– Нет, это его жизнь, и он поступает с ней согласно своим представлениям и согласно своей общей культуре. А когда культура среди населения хромает на обе ноги, ждать сознательного отношения к себе, а тем более к труду врачей особенно не приходится. Больше, чем сам человек вредит своему здоровью, ему никто не навредит.

– Среди творческих людей, да и не только среди них, просто здесь это наиболее заметно, я нередко встречаю людей с потухшим взглядом. Они горели, творили нечто значимое, вызывающее одобрение или споры, совершали какие-то важные поступки и вдруг иссякли, потухли. Чаще всего это происходит за порогом пенсионного возраста. Причем, выглядят они, эти люди, еще достаточно крепенько, серьезными болячками не обременены, а в них словно что-то пошатнулось, скатилось на обочину, лишило их стержня. Такое впечатление, будто шел, шел человек по горам, по долам и нежданно-негаданно потерял ориентир. Остановился, растерянно озирается, а потом садится на первый попавшийся камень или пенек и впадает в полудремотное состояние. Эдакий промежуток, рубеж между жизнью и смертью. Чего здесь больше – физиологических или нравственных, духовных причин? Утрата интереса, полная пассивность бывают при сильных стрессовых ситуациях личного, а также общественно-политического характера. Взять хотя бы начало девяностых годов прошлого века, когда развалили Советский Союз, когда вляпались в дикий капитализм. Сколько людей сразу лишилось ориентира. Небось, и на контингенте больных это отразилось? А последующие кризисы, революции... Тут бы не только объяснить, но и, может, посоветовать что-нибудь...

– Известно, что человеку необходима в жизни цель. Это то, что заставляет находиться в активном движении его мозг, его тело. Цели могут быть разные – высокие и низменные, бескорыстные и меркантильные, большие и маленькие. Все они, конечно, по-разному сказываются на состоянии организма, но в любом случае, наличие устремленности к чему-то определенному позволяет че-

ловеку держать себя в форме. Иначе он напоминает яхту, что застыла в штилевом пространстве с поникшими парусами.

Почему стабильное общество предполагает более высокую продолжительность жизни, чем нестабильное? Да потому, что там все ясно, предсказуемо и каждому легче прочертить свою цель даже на длительный период, ибо она видится вполне реализуемой. Это позволяет людям нормально жить. Когда же происходят катаклизмы подобные тем, что были у нас в девяностые годы, когда и само государство не имело определенной модели развития, большинство людей думало только о том, чтобы каким-нибудь образом выжить. Не жить, а выживать. Чувствуешь разницу? В ту пору, помню, зародилось массовое движение челночников, благодаря которому людям удавалось хоть как-то прокормить себя и свою семью. Кого только среди них ни было! И ученые, и артисты, и художники, и музыканты, и врачи... Какой уж тут духовный интерес. Лишь бы не пропасть, не сгинуть среди общего развала. А кто и в челночники не вписался? Прежде они были на виду, востребованы, с ними считались, их уважали, и вдруг все рухнуло, покатило неизвестно куда, прежние их цели выброшены на свалку, денег нет, к другой работе они не приспособлены. Да что там говорить! Не зря происходящее тогда называли геноцидом против собственного народа. Палаты у нас были забиты больными с язвой желудка, язвой двенадцатиперстной кишки – это первое, что страдает от стресса. (Не говорю о сердечниках, они не по моей части). Лечению такие больные поддаются трудно, поскольку психологический надлом остается, выход из тупика не найден. Людские потери в те годы были сравнимы с потерями во время военных конфликтов.

– Мне иногда кажется странным: была война, Великая Отечественная, были жуткие, нечеловеческие условия, в которых находились люди на передовой и в тылу. А ведь о подобных болезнях, связанных со стрессом, нам слышать и читать не доводилось.

– Все контролирует, всем командует центральная нервная система. Состояние человека зависит от того, как она реагирует на происходящее. Ее не обманешь, не проведешь. Одно дело – битва за Родину, самая высокая из существующих целей, и совсем другое – борьба за деньги, вызвавшая у многих растерянность, отторжение, неприятие. В первом случае – полная моби-

лизация всех иммунных сил организма, а во втором – отказ включать, задействовать этот мощный резерв.

Что посоветовать? Не умирать раньше смерти. Это, право, грешно. Все, что имеет начало, имеет конец. Рано или поздно завершается любая кризисная ситуация. Оказавшись в ней, надо не кинуть, а брать себя за шиворот, хорошенько встряхивать и определять цель, ради которой следует действовать, идти вперед, продираясь через все препоны. У кого-то это может быть ребенок – его надо вырастить, у кого-то любимая женщина – перед ней стыдно показать себя слабаком, у кого-то профессия – во что бы то ни стало необходимо сделать ее востребованной в обществе.

Помню, за какую нищенскую зарплату мы тогда работали. Хотя и сейчас отнюдь не жируем. Как сложно было с лекарствами, аппаратурой, медматериалами, включая стерильную вату, бинты. Почти постоянно в операционной отключали свет. Но мы все-таки с честью прошли и через это, потому что зов нашей профессии, ее требование – несмотря ни на что спасать людей – были для нас превыше всего. Возможно, я говорю слишком пафосно, однако здесь, полагаю, это вполне уместно.

– Эрнст Хашимович, ты считаешь, что самое любимое твое слово – работа. Ну, ладно, примем за данность. У каждого свои заскоки. А от какого слова, понятия особо воротит твою душу, вызывает внутренний протест, негодование? Наугад назову: предательство, ложь холуйство?..

– Видишь ли, это должно вызывать отвращение у любого нормального человека, к каковым я и себя отношу. Но, кроме того, – профессор испытующе смотрит на меня со свойственным ему прищуром, словно примеряя ко мне еще не произнесенное: смогу ли понять его? – Я совершенно не приемлю слово «отпуск». Почему-то оно вызывает у большинства людей восторженное предощущение чего-то манящего, радостного. Для меня это нонсенс. Хочу спросить: отпуск от чего? От опостылевших дел, забот? От того, что мучит, не доставляет удовольствия? Тогда зачем вообще этим заниматься?

Свою работу я люблю больше всего на свете. Отпуск от нее мне никогда не нужен. Именно здесь, в больнице, я чувствую себя лучше всего. Видеть, как благодаря тебе, твоим коллегам выздоравливает тяжелый больной – что может быть приятней этого? Вот истинное счастье! Никакой чудодейственный бальзам не сравнится с этим. В каждом больном я вижу потенциально здо-

рового человека. Только нам вместе с ним надо постараться, приложить усилия. И вот когда шаг за шагом мы движемся к намеченной цели, я возьму отпуск и махну куда-нибудь отдохнуть? Да я не выдержу и нескольких дней. Изведусь, издергаюсь, брошу все и вернусь домой, в больницу.

Как-то американцы, узнав о разработанной мной новой методике оперирования больных панкреонекрозом, пригласили меня в Хьюстонский медицинский центр. Будь это чисто туристический вояж, я бы, конечно отказался. Но посмотреть на достижения своих коллег в Америке было заманчиво. Увы, вскоре выяснилось, что я, как врач, им более интересен, чем они мне. Аппаратура у них да, более современная, а что касается хирургов, то их уровень ничуть не выше нашего. И уже дня через четыре мне стало скучно, я стал рваться назад. Что, ходить по магазинам или осматривать тамошние достопримечательности? Ну их!.. Еле дождался отлета.

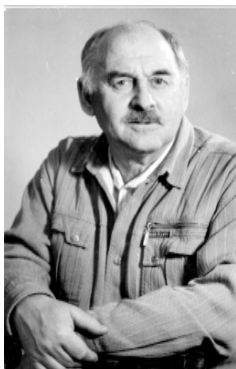
– Эрнст Хашимович, но мир ведь так прекрасен и многообразен, не суживаешь ли ты его для себя? Богатейшая природа, творения рук человека... Неужели не хочется отвлечься от дела, в которое погружен годами, десятилетиями, переменить обстановку, поездить, посмотреть?

– Нет. Да и зачем? Вот ящик, – показывает на телевизор, стоящий справа на тумбочке. – По нему, выкроив время, могу насладиться любыми красотами воды и суши. Все, что объездить никакой человек не в состоянии. Будь то джунгли или Арктика, вершины Гималаев или пустыня Сахара, заливы Карибского моря или вулканы на Камчатке... А подводное царство? А редкие виды животных в своей естественной среде? А пирамиды Хеопса!.. Да что там говорить! И все это я вижу, что называется, без отрыва от производства.

– Надеюсь, ты нашу беседу отнесешь к разряду работы, а не отпуска или чего-то в этом роде. Было бы странно, если бы я во всем с тобой согласился, но было бы еще более странным, если бы твоя философия хирурга не оказалась бы мне очень интересной и поучительной.

Акрамов смеется, озорно щурясь. Чувствуется, он уже отдохнул от проведенной операции и готов к следующей.

Леонид ДЯДЮЧЕНКО



БАЛЛАДА ОБ УЧИТЕЛЕ

По-настоящему талантливые, щедрые душой писатели, каким, несомненно, был Леонид Борисович Дядюченко, настолько редки, что их по пальцам можно сосчитать. Он много писал и в публицистике, и в документальной, художественной прозе, и в поэзии, его произведения с огромным удовольствием печатали в журнале «Литературный Кыргызстан», любимым автором которого он оставался несколько десятилетий.

Когда Леонид Борисович покинул поле жизни, стали писать о нем. Но оказалось: далеко не все, с чем соприкоснулся Леонид Борисович, что тронуло его душу, и было запечатлено им, стало достоянием наших читателей.

Эльвира Николаевна Дядюченко, жена писателя, нашла в его архиве статью о замечательном учителе-историке Николае Дмитриевиче Черкасове, школу которого прошел в свое время и Леонид Борисович.

- Только благодаря Николаю Дмитриевичу я выбрала эту профессию, - говорит археолог, педагог Светлана Михайловна Громова. - И таких учеников у него - десятки. Он создал в школе исторический кружок и историко-археологический музей, вместе с учениками собрал уникальную коллекцию наскальных рисунков, занимался научной их расшифровкой. И к тому, что написал о нем Леонид Борисович, мы, его ученики, присоединяемся всей душой.

Он не был первым учителем, не был ни вторым, ни третьим, для многих он и вовсе был всего лишь «историком» из чужой



Н. Д. Черкасов с учениками

школы. Но узнавали, уходили с ним в походы, бродили по белесым холмам городищ Ак-Бешима и Красной речки, жарились среди пустынных увалов Чумыша и Чолпон-Аты. Он никого не уговаривал, никого к себе не приглашал, к нему приходили сами, всегда с ним рядом кишела ребятня, к нему привязывались самые «отпетые», самые трудные ученики. Их привыкли ругать, читать нотации нудно и бесконечно, но обращаться

с ними как с равными - и в голову не приходило. С Черкасовым - всё было на равных. На равных исходили тысячи километров походных троп, на равных радовались находке в Чумышских горах неизвестных наскальных изображений и на равных создавали первый школьный историко-археологический музей.

После войны я пришёл в Дом пионеров, потому что каждый должен был посещать какой-нибудь кружок. Меня заинтересовал - исторический. А начал он свою работу с того, что целая армия мальчишек и девчонок принялась драить разбитые кирпичные полы в полуподвальном, сыром помещении, а руководил этой армией живой, энергичный человек, с весёлым взглядом из-под лохматых бровей, из-под крутого, глубоко облысевшего и загорелого лба - учитель истории Николай Дмитриевич Черкасов. Затем они дружно таскали тяжёлые ящики с какими-то невиданными мною черепками и сосудами, развешивали по стенам какие-то непонятные мне фотографии и рисунки, раскладывали по витринам выщербленные шары ржавых ядер и изъеденные коррозией лезвия древних кинжалов, которые, оказывается, они находили сами, вместе, конечно, с Николаем Дмитриевичем, во время их путешествий по родному краю, когда они

делали по двадцать километров в день. Я тоже драил полы, я тоже таскал тяжёлые ящики с венчиками и ручками древних сосудов и оссуариев, я честно зарабатывал право на вступление в исторический кружок, на участие в очередном походе кружковцев, я очень ждал этого первого похода со столь бывалыми путешественниками и их замечательным руководителем - тем полней и неожиданней было моё разочарование в тот день.

В тот день Черкасов повёл нас в Кузнечную крепость. Мы шли какими-то проулками, какими-то проходными дворами, а я почему-то думал, что мы будем идти долго, куда-то за город, в степь, через речку, на крутом берегу которой покажутся, наконец, разрушенные крепостные стены, руины крепостных башен, пусть даже сложенные из глины, из которой, оказывается, сторожились все крепости и города в Средней Азии; но всё-таки стены, но всё-таки башни, по которым можно было бы лазить и даже фотографировать их специально купленным для походов плёночным фотоаппаратом зеркального типа «Комсомолец». И я с нетерпением ждал, когда, наконец, кончатся эти раскисшие под мартовским солнцем проулки, эти мазанки, кибитушки, землянки, на которые я достаточно насмотрелся в «Шанхае» и среди которых Черкасову зачем-то вдруг захотелось нас провести. Точно такой-же «Шанхай»! Только здесь он наклеплен по склонам какой-то горушки, но она невысока и мы вскоре оказались на её плоской вершине, но и здесь всюду были мазанки, их плоские крыши и тусклые окна. И нам, конечно же, делать тут было совершенно нечего, но Николай Дмитриевич остановился, поднял откуда-то из-под ног изогнутую раковинку глиняного черепка, дунул на неё, обтёр ладонью и совершенно неожиданно сказал: «Ну вот мы и пришли. Удивительное место! Вы видите, какая керамика? Это одиннадцатый - двенадцатый век, какая прелесть!». Я онемел. Оказывается мы стояли на цитадели городища Кузнечная крепость. Николай Дмитриевич продолжил разговор: «В цитадели укрывались правители, их приближённые и воины, а вокруг цитадели был расположен нижний город - шахристан. Там жили торговцы и ремесленники, а дальше были крепостные стены. Они скрыты, и все же их можно угадать. Кокандцы в первой половине девятнадцатого века использовали лишь валы древнего городища, а люди жили здесь издавна. И люди ещё вернутся сюда, только по-настоящему. Они разобьют здесь прекрасный



Леонид Дядюченко.
Фото на первый в
жизни документ

парк. Проведут раскопки и создадут музей города, обязательно! А вся эта накипь будет убрана как дурной сон. Это сейчас трудно, после войны. А мы всё же должны делать дело, потому что час промедления может обернуться утратой ценнейших находок. Вы видите ямы, где люди берут глину? Они отбрасывают керамику, которая им встречается и надо её подобрать. Иначе она погибнет безвозвратно. Это ключ к прошлому, и мы должны его сберечь. Ну, за дело?».

И вот минуло более сорока лет.

И гид по Кузнечке у меня - не историк

Николай Дмитриевич Черкасов, а квартальная тётя Шура. Сначала тётя Шура встретила меня сурово, в неприёмные часы пришёл, но разговорились: «Я раньше работала техничкой в десятой школе».

- В десятой?

- Ну.

- Вы Черкасова знали? Николая Дмитриевича?

- Кто ж его не знал? А вы что хотите сказать, тоже его знали?

- Много лет. И был с ним тут не раз, в Крепости, он нас сюда пацанятами водил.

- Это он мог. Вокруг него всегда пацанят было много. Какой музей он в школе сделал! Свои деньги тратил, ничего не жалел - ни сил, ни времени... Давайте-ка я чайку поставлю - это быстро!

Спасибо, Николай Дмитриевич! Вот и ещё помогли.

Конечно, он был далёк от того, чтобы видеть во всех своих учениках будущих историков и археологов. Не в этом дело, кем они будут! Не в этом дело, в каком кружке или секции будет заниматься тот или иной ученик, о свободном времени которого всегда и много говорили на всех педагогических перекрёстках. Не время нужно занимать - сердце! Это было его глубокое убеждение. Он увидел эту возможность в работе исторического кружка, в дальних походах, в ночёвках под ливнем в палатках, в долгих разговорах у вечернего костра. Здесь ему открывались са-

мые замкнутые и настороженные сердца, здесь на его глазах рождалась в этих сердцах любовь к земле, на которой они живут, здесь из гороха несложившихся ещё характеров складывался коллектив, утверждались принципы дружбы и помощи друг другу.

А потом они выросли и уходили от него. И становились геологами и журналистами, рабочими и врачами, механиками и военными и ... историками. Но не забывали, приходили уже как друзья на огонёк и в школу, и домой. Шли за советом в трудных жизненных ситуациях, всех он помнил и для всех оставался до самого конца его жизни - УЧИТЕЛЕМ.

КУЛЬТУРА



Ч. АЙТМАТОВ И М. БАЙДЖИЕВ: ГОРИЗОНТЫ ДВУЯЗЫЧНОГО ТВОРЧЕСТВА

Народам, населяющим Кыргызстан, издревле были присущи стремление к взаимопониманию и толерантность. Здесь, испокон веков жили, несмотря на локальные конфликты, духовно взаимообогащаясь, представители самых разных этносов, носители самых разных культур и языков.

Проблемы двуязычия для нас по-прежнему актуальны. Назрела необходимость взглянуть на них без политической конъюнктуры, установить формы сосуществования и эффективного их использования.

В связи с этим представляется важным исследование произведений выдающихся кыргызских писателей Чингиза Айтматова и Мара Байджиева, пишущих на русском и кыргызском языках. На примере их творчества особенно рельефно видны наиболее характерные особенности двуязычного творчества.

Билингвизм в художественной литературе – очень сложное многослойное явление. Труды, посвященные исследованию двуязычного творчества, носили прежде отрывочный характер. И лишь недавно, когда двуязычие стало восприниматься как нечто естественное, им всерьез занялись литературоведы.

В советские времена кыргызы, как и многие другие народы СССР, наряду с обязательным изучением родного языка, получали образование и на русском языке.

Известный литературовед Чингиз Гусейнов в «советской многонациональной литературе» определяет следующие типы: творчество на национальном и авторский перевод на русский;

творчество на русском с последующим самопереводом на национальный язык; параллельное творчество на национальном и русском без самоперевода; временный или постоянный переход с двуязычия на одноязычие русское или национальное, при котором произведение не переводится автором на национальный язык в первом случае, и на русский - во втором; творчество лишь на русском языке, при котором сам писатель причисляет себя к литературе не русской, а национальной.

Соглашаясь, в принципе, с Гусейновым, замечу лишь, что все вышеназванные типы билингвизма встречаются на практике зачастую в их комбинированном виде. Двуязычное творчество так же, как и любое творчество, является глубоко индивидуальным.

Произведения Айтматова и Байджиева, которые в силу сложившихся жизненных обстоятельств с раннего детства владела и кыргызским, и русским языками, гармонично содержат в себе все вышеназванные типы билингвизма. При этом они сами не раз писали о природе двуязычного творчества, исходя из собственного опыта.

Исследователи признают право каждого писателя на выбор языка, но как только речь заходит об определении национальных рамок, возникает горячая полемика, приводятся доводы взаимоисключающие друг друга. Порою доходит до абсурдных утверждений типа: «Айтматов - русский писатель», как выразился осетинский литератор Нафи Джусойты.

История мировой литературы знает писателей, которые творили на неродном языке и официально значатся писателями как по языковому признаку, так и по национальной принадлежности. Джозеф Конрад – поляк по национальности, писавший на английском языке, остался как английский писатель. Но в то же время американский писатель Серая Сова (Вэша Куоннезин) - индеец по происхождению, хотя все свои произведения писал на английском, считается как в официальных справочниках, так и среди читателей индейским писателем. Очевидно, при определении национального признака писателя также следует проявить комплексный подход к творчеству писателя, не «вырывать» из контекста лишь язык творчества, национальную принадлежность или страну его проживания.



Вопрос языка и темы в творчестве двуязычного литератора стоит острее, чем в творчестве традиционного «одноязычного» писателя. Любопытны в этом отношении размышления В. Набокова.

«В три года я говорил по-английски лучше, чем по-русски, а, с другой стороны, был период между девятью и двадцатью годами, когда, несмотря на то, что читал невероятно много английских авторов: Уэлса, Киплинга, Шекспира, если брать только некоторые вершины, говорил я по-английски очень редко. Французский я

выучил в 6 лет, - рассказывал В. Набоков Бернару Пиво в 1975 году. Язык моих предков - это по-прежнему язык, где я себя чувствую совершенно в своей стихии. Но я никогда не пожалею о своем превращении в американца. Французский же язык, или, скорее, мой французский (это нечто особое) не так сгибается под пытками моего воображения. Его синтаксис запрещает мне некоторые вольности, которые я с легкостью могу себе позволить по отношению к двум другим языкам. Само собой разумеется, я обожаю русский язык, но английский превосходит его как рабочий инструмент”.

Исходя же из опыта Айтматова и Байджиева, можно смело заключить, что билингвизм – это когда оба языка одновременно находятся в работе, когда знание их в совершенстве расширяет границы мышления, наделяет писателей особым видением того, о чем они повествуют в своих произведениях.

Один из краеугольных вопросов: какой язык считать род-

ным для писателя-билингва? Язык творчества? Или язык его родителей? На этот счет неожиданную мысль высказал известный калмыцкий поэт Давид Кугультинов: «Человек ведь не помнит, какие слова родного языка он произнес впервые, и что значили эти слова. Но когда он проникает в суть другого языка, уже имея известный жизненный опыт, – дело иное. Помню, как я узнал русское слово «хлеб». Вытащив горячий каравай из печи, мне отрезали и подали душистый ломоть: «На, поешь хлеба с медом». И сколько бы лет ни прошло с тех пор, когда произносят слово «хлеб», я слышу запах, вкус, и ощущаю все, что связано с этим словом, вплоть до понятия мудрости и отчизны».

Кто знает, может быть, именно этим объясняется то, что создателем «Толкового словаря живого великорусского языка» стал Владимир Даль – обрусевший датчанин. Ибо человек, находясь на стыке двух наций, языков, острее чувствует, более объемно видит своеобразие других культур и языков. Русский лингвист Константин Юдахин «окиргизился» и создал энциклопедический кыргызско-русский словарь!

Духовный и интеллектуальный мир Чингиза Айтматова и Мара Байджиева наполнялся через кыргызский и русский языки. Дело не только в знании родного фольклора, осведомленности о мировой литературе, но и в органическом освоении этих начал в своем творчестве.

Многие начинающие писатели испытывают потребность заниматься переводами. Чингиз Айтматов и Мар Байджиев не прошли мимо этой «школы».

Азиз Салиев, в газете «Адабий гезит», вспоминает о том, как в начале 50-х годов молодой зоотехник Чингиз Айтматов и студент-филолог Мар Байджиев участвовали в подстрочном переводе эпоса «Манас». Вместе с переводом Ч. Айтматов принес свой рассказ «Писатель-мост», который затем был опубликован в альманахе «Литературный Киргизстан».

Безусловно, подстрочные переводы помогли будущим писателям глубже взглянуть на писательское искусство, ведь в ходе работы переводчик заново проходит весь путь, пройденный автором, на ином языке.

Айтматов никогда не эксплуатировал в своих произведениях национально-этнографические элементы в угоду кыргызскому читателю.

В произведениях самобытность, национальный колорит передаются им ненавязчивыми, не бросающимися в глаза определениями, эпитетами и пр. Анализируя причины, побудившие Ч.Айтматова полностью в своем творчестве перейти на русский язык, многие критики сходятся в том, что одной из главных причин явилось неудовлетворение писателя качеством перевода его ранних повестей на русский язык русскими переводчиками, не знающими в полной мере кыргызских национальных традиций и обычаев, а потому допускающих неточности в переводе.

Повесть «Тополек мой в красной косынке» Айтматова была опубликована на русском языке как «перевод автора с кыргызского языка», хотя кыргызский текст увидел свет лишь в 1981 году – почти двадцать лет спустя.

Переход на русский язык сам писатель объяснил «узостью мышления литературной критики» в республиках, и как инстинкт самосохранения. Хотя думается, вряд ли это обстоятельство сыграло решающую роль.

К тому времени, когда Айтматов написал на русском языке повесть «Прощай, Гульсары!», русский язык охватывал куда более широкую аудиторию и находился в выигрышном положении перед национальными языками, сфера действий которых была ограничена пределами своей национальной республики. Сюда же следует добавить наличие мощной полиграфической базы для книг на русском языке, выбор «толстых» литературных журналов, специальных изданий типа «Роман-газета». Русскоязычное творчество обладало по сравнению с национальными языками огромным преимуществом. К тому же с русского могли последовать переводы и на другие языки.

На международной конференции, посвященной проблемам двуязычного художественного творчества, в 1967 году, Айтматов говорил о возможности гармоничного сосуществования двух языков:

«Если книга написана на кыргызском языке, я ее перевожу на русский, и наоборот. При этом я получаю глубочайшее удовлетворение от этой двусторонней работы. Это чрезвычайно интересная внутренняя работа писателя, ведущая, по моему убеждению, к совершенствованию стиля, к обогащению образности языка».

«Писать на русском языке для меня, что снимать широкоформатно», «опыт другого языка с большим «литературным стажем» и стоящей за ним культурой постоянно присутствует и помогает мне исподволь, самопроизвольно, как бы раздвигать рамки видения».

«Я думаю, продолжал Айтматов, я хотел бы надеяться, что пишу для одного человека. Это человек, за которого я переживаю, за которого я борюсь, с которым я стараюсь быть предельно откровенным, которому я хочу высказать самые сокровенные мысли, и таким образом высказать их, чтобы это его затронуло и восхитило, и поразило, вознесло, и бросило в бездну. И я надеюсь - этот человек меня поймет. Если так и произошло, значит я достиг желанной цели. Если нашелся один такой человек, я верю, что меня поймут и другие, может быть, и многие, может быть, и народ. Если же с самого начала поставить перед собой задачу написать для масс, то с самого начала идет расчет на массы, а это ведет к девальвации смысла и назначению художественного творчества».

Из вышеприведенного более чем ясно, что писатель изначально ориентирован на более подготовленную, взыскательную аудиторию.

Георгий Гачев в книге «Чингиз Айтматов и мировая литература» пишет: «Им влиты в русскую литературную традицию такие сюжеты, мифологемы, образы, которых русский по происхождению писатель и на материале русской жизни создать не может... подобное было в первой трети XIX века, когда в русскую литературу вошел «нацмен» из Малороссии Николай Гоголь. Все эти сорочинцы, миргородцы, парубки, казаки Сечи Запорожской - с особыми жизненно-сюжетными ситуациями, преданиями, языком и юмором - как раздвинули они существовавшие до этого границы творчества, влившись в реку русской литературы».

Из кыргызских писателей Чингиз Айтматов и Мар Байджиев наиболее ярко использовали феноменальные древние легенды и притчи, органически синтезируя их с современностью. При этом и у Айтматова, и у Байджиева наблюдается трансформация, - акцентирование главной мысли притчи, известной или полузабытой легенды, как бы заново они создают свой вариант, изменив и приспособив легенду к своим художественным иде-

ям, поднимая её суть до общечеловеческого уровня. Впервые кыргызскую легенду о Матери-Оленихе в середине позапрошлого века записал Чокан Валиханов. Эта легенда в произведениях кыргызских писателей упоминалась не раз - но лишь как эпизодический факт, орнамент, однако освежить «отреставрировать», сделать её значимой удалось лишь Айтматову в «Белом пароходе» и Т.Байджиеву в драме «Древняя сказка» и в повести «Однажды очень давно». М. Байджиев заново раскрывает идею древней легенды, вызвав общественный резонанс на мировом уровне.

Двуязычное мастерство драматурга и прозаика Мара Байджиева по особенному ярко проявилось в художественно-интеллектуальной интерпретации этой легенды. Здесь наглядно присутствует эффект двуязычного художественного мышления, национальный фольклорный материал достигает общечеловеческого звучания. Эта легенда использована Байджиевым и в его повести «Однажды очень давно». Это разные жанры, и у каждого из этих произведений есть свои преимущества. Автор сумел в каждом из них создать оригинальный художественный мир. При этом использована сюжетная канва легенды, переработанная и обогащенная творческими находками, что отражает самобытность писателя.

Кыргызы считали себя и природу как единое целое, выступление против природы считалось моральным преступлением, верили, что природа покарает такого человека. Именно на этой мысли делает акцент Мар Байджиев, придавая своим произведениям современную окраску.

Произведения Айтматова и Байджиева такой художественной мощи могли появиться лишь при глубоком знании национального материала, умении видеть его как бы «со стороны», что, собственно, составляет основную черту двуязычного художественного мышления, которое ярко проявилось в творчестве этих выдающихся писателей.

Авторский перевод - неотъемлемый процесс билингвального художественного творчества. Ч. Айтматов занимался авторским переводом с первых своих рассказов и повестей, М. Байджиев работает в этом направлении на всем протяжении своего творчества. Самобытность писателя-драматурга М. Байджиева

дает богатый материал для выявления особенностей билингвального творчества. На каком бы языке ни писал автор, затем оно обязательно сопровождалось «вторым рождением» - в авторском переводе.

Впрочем, не может не возникнуть вопрос: почему один из двуязычных писателей Чингиз Айтматов преимущественно стал творить только на русском языке, а Мар Байджиев продолжает писать на обоих языках, занимаясь затем автопереводом?

Произведения М. Байджиева, ставшие заметной вехой в истории национальной литературы, с большим трудом пробивались к своему читателю и зрителю, подвергались осуждению официальной критики. В кыргызской литературе не было так называемой диссидентской литературы, проявление ее были именно в творчестве М. Байджиева. Не зря Байджиев с особой благодарностью пишет статью: «Друг мой верный - русский язык»... Когда его подвергали ожесточенной, несправедливой критике в Кыргызстане, вплоть до изъятия изданных книг, снятия с репертуара театров спектаклей, он посылал свои произведения в Москву и Ленинград, его пьесы шли в десятках театров СССР, его книги издавались на русском языке огромными тиражами. Образу говоря, писатель М. Байджиев был похож на летчика, который, совершая экстремальные полеты, всегда имел свой запасной аэродром!..

В Белинский писал, что переводчик не вправе «ни убирать, ни добавлять» к тексту оригинала, а должен перевести переводимый материал со всеми имеющимися в нем недостатками, не изменяя его ни в чем». Но это не касается авторского перевода, который не ограничен такими рамками, здесь процесс перевода являет собой новый этап творческого воссоздания.

Опыт Чингиза Айтматова и Мара Байджиева в том, чтобы «переделать свое произведение» в авторском переводе - общая для них черта: усовершенствовать свое произведение, ранее опубликованное на русском или кыргызском языках.

Превращение перевода с кыргызского в русский «оригинал» учитывает упущения в первом оригинале, просчитывает перспективы второго оригинала на русском языке. В результате произведения наших замечательных авторов получили широкое признание, выдержали испытание временем.

Билингвизм М. Байджиева в драматургии - это особый случай в мировой истории театрального искусства.

Переводя свои драмы с кыргызского, Байджиев совершает «переработку», приспособляя их к новой аудитории. И это вполне объяснимо, ибо проблемы, поднятые в пьесах Байджиева, по самой своей сути общечеловечны. На таком уровне он преподносит национальный материал. Это открывает им дорогу к сценам театров мира. В свою очередь, переводя свои пьесы, написанные на русском языке, на кыргызский, М.Байджиев вносит существенные изменения, несущие в себе уже сугубо национальные элементы и образы.

Авторский перевод на кыргызский язык в исполнении Байджиева не только обладает национальным колоритом, но и делает событие «приземленным, родным» для зрительского восприятия.

Появление книги Мара Байджиева «Сказания о «Манасе, Семетее и Сейтеке» - поэтическое переложение на русский язык великого кыргызского эпоса «Манас» без преувеличения можно назвать очень важным, неординарным событием. На протяжении десятков лет этот эпос вызывает интерес мировой общности. Но мало кому было известно, сколь сложен и тернист путь этого гениального произведения к русскоязычному читателю.

Не раз делались попытки перевести эпос на русский язык, однако эти попытки не увенчались успехом. В середине прошлого века к этой работе была привлечена группа московских переводчиков. Из-за незнания языка оригинала они пользовались подстрочниками, и в результате книга, изданная в Москве («Великий поход», М., 1946), содержала ряд серьезных неточностей и искажений и была изъята из обращения.

Нет сомнения в том, что выход в свет трилогии «Сказания о Манасе, Семетее и Сейтеке» М.Байджиева открыл кыргызскому эпосу новые, неведомые доселе возможности в его плавании по мировому литературному океану!..

Безусловным достоинством «Сказания о Манасе, Семетее и Сейтеке» М.Байджиева является то, что автор, используя сюжет эпоса, создал свой собственный авторский вариант на русском языке. Это уникальный случай! Автор выбрал верный

путь, донес до русскоязычного читателя эпос в полном объеме событий, не утратив при этом, а наоборот, дополнив художественные достоинства великой притчи, пережившей эпохи и тысячелетия. Поэма Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» была переведена на кыргызский язык Алыкулом Осмоновым именно в такой вольной манере, и кыргызские читатели любят ее, как образец из родной поэзии, и детям своим дают имена Автандил, Таризл, Нестан, Тинатин.

В «Сказаниях о Манасе, Семетее и Сейтеке» М.Байджиева охвачены главные сюжетные линии эпоса и образы главных героев, трагедия поэмы передана с эпической мощью подлинного художественного шедевра, - посредством великого русского языка!

После того, как читатель закроет последнюю страницу книги, у него возникает лишь чувство восхищения от этого вдохновенного труда.

«... В 1956 году Ч. Валиханов назвал эпос «Манас» степной «Илиадой». Я же считаю эпос «Манас» - «Библией гор и Степей», а потому стремился сохранить библейские мотивы, уточнить и обобщить притчевые мысли Великого сказания. В меру своих способностей старался сберечь канонический сюжет эпоса, выстроить логику поведения героев и развития событий, передать образный колорит кыргызского языка», - признается сам Мар Байджиев.

Очень точно написал о «Сказании о Манасе, Семетее и Сейтеке» известный литературовед, профессор Георгий Хлыпенко: «Еще одна трудность - сохранение национальной поэтики оригинала в книге, ориентированной на инационального, т.е. русскоязычного читателя... В качестве переводчика-интерпретатора выступает писатель-билингв, не нуждающийся в подстрочнике. Трилогия «Сказания о Манасе, Семетее и Сейтеке» - это авторское произведение, созданное на основе фольклорных первоисточников».

Подытоживая вышеизложенное, можно заключить, что авторский перевод - многогранный творческий процесс, сочетающий билингвальное мышление со «стереоскопичностью» зрения двуязычного художника слова, который стоит как бы на пограничной полосе. В этом смысле произведения Чингиза Айтма-

това и Мара Байджиева проникли в сознание читателей разных народов, поведали миру о кыргызском народе, о его духовном богатстве посредством русского языка. Это особенно заметно в их лучших произведениях - «Прощай, Гульсары!», «Белый паром», «И дольше века длится день» и «Плаха» Ч.Айтматова, «Древняя сказка», «Дуэль», Однажды очень давно», «Осенние дожди» М.Байджиева, где самые актуальные национальные проблемы возвышаются до общечеловеческого звучания, ибо это проблемы человеческого долга, нравственных устоев, на которых и зиждется жизнь на Земле.



УВИДЕЛ МИР ГЛАЗАМИ СВОИХ ГЕРОЕВ

«Простите меня», – слова раскаяния, слова, идущие от души, свидетельствующие, о том, что невозможно просто разойтись, надо объясниться, оправдаться, очиститься, раскаяться.

«Простите меня» – это не что-то сухое этикетное «извините»...

«Простите меня» – это глубоко личное, и в то же время свидетельство сопричастности к другому, это акт существования индивида в обществе.

«Простите меня» – с таким названием новой книги обратился к читателям известный драматург и писатель Талип Ибраимов. Издательство «Турар», выпустившее книгу, ещё раз подтвердило реноме одного из ведущих и лучших в республике. Издание отличается и прекрасным оформлением обложки, выражающей глубинную суть пафоса книги: на чёрном фоне выделяется своеобразный красный постамент со словами «Простите меня», а над ним мерцает свеча – символ надежды, над которой белыми облаками написано имя автора – Талип Ибраимов. Вместе с тем, если посмотреть на обложку с иной точки зрения, то неожиданно можно увидеть контуры лица-маски, произносящей: «Простите меня».

Характеризуя творчество лауреата Русской премии Т. Ибраимова, российский критик Олег Дарк отметил: «Повести и рассказы Ибраимова стали для меня потрясением. Опытный мастер слова явился перед читателем вдруг, разом, без всякого там «творческого пути», как Минерва из головы Юпитера. А она, как изве-

стно, является в полном облачении и всеоружии...» (Олег Дарк 01.02.2008г. Русский журнал). Действительно, известный драматург выступил в качестве прозаика как уже состоявшийся мастер, со своим мировидением и неповторимым почерком. Большая заслуга в раскрытии Т. Ибраимова-писателя принадлежит журналу «Литературный Кыргызстан», на страницах которого состоялся его дебют как прозаика.

Первой повестью, увидевшей свет, был «Старик». Когда-то, на берегу Иссык-Куля, возле дома у самого озера Т. Ибраимов сильно удивил меня, сказав, что его «старик» жил в таком же доме, сказав как об действительно существовавшем человеке. А может, в этом и есть правда? Герои истинно художественных произведений живут в нас, среди нас, они реальнее, чем мы, поскольку типизируют и обобщают человеческие страсти, стремления, благородство и пороки, разочарования и надежды, являются словесным портретом времени. Образ Старика из повести Талипа Ибраимова воплотил в себе трагедию талантливых людей, так и не состоявшихся в годы «застоя», не востребованных и в новые времена, в которые правят твёрдо стоящие на земле посредственности – эгоистичные, циничные и лицемерные, служащие своим меркантильным целям. Старик был рождён Титаном, а прожил жизнь в лицемерном обществе, среди чуждых людей, растрчивая свою мощь и талант, жил в плену идеологических иллюзий, трусовато стараясь не высовываться, а жизнь клочкотала рядом – суровая подлая сука, показавшая своё истинное лицо на исходе его судьбы. Старик познал любовь, и былая мощь заиграла в своей природной основе, откликаясь на молодость, правдивость и понимание. Он познал любовь без фальши и лицемерия, человека понявшего и принявшего его, познал, чтоб обжечься – это была любовь воровки и убийцы. В его жизни ничего не было по-настоящему своим: ни жены, ни детей, ни друзей, ни творчества... Что осталось? Только экзистенциальный бунт, обречённый на проигрыш. И он «замахнулся» на море. Плыви, Старик, это лучше, чем сдаться!

Талип Ибраимов – писатель, чутко чувствующий человеческую боль, сострадающий «униженным и оскорблённым», на дне жизни видящий высоту человеческого духа. Драматические штрихи судеб «маленьких героев» из повести «Ангел» раскрывают

панораму социальной жизни людей, оказавшихся на обочине истории. «Чтобы не смущать чувствительность гостей нашего города, Лондон со стороны дорог прикрывают пятиэтажки, а просветы между домами закрывают громадные щиты с метровыми буквами призывов, цитат, которые периодически обновляются. Раньше, например, были цитаты из Брежнева, потом из Горбачёва и какие-то умные слова о новом мышлении, а теперь красотцы-ковбои рекламируют табак и виски, чудо-красавицы – чулки и презервативы. Всё течёт, всё меняется, кроме нашего края, который какой-то шустряк нарёк Лондоном в честь столицы великой страны, нарёк вполне бескорыстно, ибо тогда жили люди бедные и гордые и строили свою жизнь, не рассчитывая ни на чьё подаяние. Видимо, берегут наш Лондон, чтобы потом показывать как красноречивое свидетельство нищеты, до которой довели страну коммунисты. Слов-то, нынче, ого го!» (С. 72).

И остаётся только молиться, что ниспошлёт Всевышний, а может Судьба, или Случай ангела, который вытащит из этого болота, и начнётся новая жизнь... Вот только ангелы на небесах... и им не до человеческих страстей... и расхлёбывать заваруху приходится самим, благо, что и в самом «последнем» человеке, горит искра, зажжённая неведомо кем, побуждающая поступать, нет, не как ангелы, а как люди, обречённые, но мечтающие и жертвующие ради ближних своих.

Писатель сродни артисту, он может перевоплощаться и видеть мир глазами различных персонажей. Талип Ибраимов мастерски владеет различными формами повествования. Например, повесть «Гнездо кукушки» написана сквозь призму внутреннего мира убогой-немой женщины. Однако какую бы форму повествования ни избрал Т. Ибраимов, художественный мир его произведений не теряет своей объёмности и пластичности. Во многом это удаётся за счёт удачно выстроенных мизансцен и диалогов, панорамных описаний пейзажей. Думается, в этом проявился талант Т. Ибраимова-драматурга, позволяющий выстраивать не только выразительный, но и изобразительный ряд.

Поражает жизнеутверждающий пафос произведений, входящих в сборник «Простите меня». При этом писатель изображает жизнь без прикрас, со всеми её социально-нравственными проблемами, драматическими и комическими коллизиями, роман-

тическими устремлениями и ироничными словоформами. Однако при этом и в обыденном видится ему божественное, через слёзы очищения дарится надежда, заливающаяся серебряным колокольчиком, а «Женщина у стремени» всадника становится символом всёпобеждающей жизни.

Главный герой повести Асан, в миру – «Простите меня», выписанный в гуманистических традициях русской литературы XIX века, прежде всего, ассоциируется с образом идиота Ф.М. Достоевского. «Асан, – как охарактеризует его один из сильных мира сего, – почти слабоумный, но он знал из опыта истории, что в мозгах именно таких блаженных прячутся истины, недоступные для людей здравого ума». Герой повести Т. Ибраимова не смог жить в мире зла и насилия, где честь не в чести и правит бал «золотой телец». Трагический финал произведения органически вытекает из повествования, реалистически раскрывающего социальные реалии и конфликты современной жизни. Однако тонкий юмор и вера в силу человеческих деяний окрашивают произведение жизнеутверждающим пафосом, мерцающим сквозь драматизм социального бытия человека: «Тьма. Черная и непроглядная. Неожиданно в сердце этой тьмы затрепетала крохотная искорка света. То угасая, то расширяясь, то уменьшаясь, словно, сомневаясь в своей нужности.

Судя по завываниям, ветер набирал силу.

На столбе рядом с ветряком лампочка засияла ярче, увереннее, выхватывая вращающиеся лопасти ветроколеса. Вокруг – тьма.

Но точка света – есть. И во мраке не так уж безнадежно».

Жизнь постигается смыслом смерти. Неслучайно одним из древних жанров искусства слова являются плачи. Древнетюркская литература оставила высокохудожественные образцы плачей, воплощающих в себе жизнь исторических лиц. Примером тому может служить «Элегия на смерть Алп Эр Тонга», свидетельствующая о большой временной динамике и пространственной открытости древнетюркской поэзии:

Судьба никому ничего не прощает,

Всех без разбора в прах стирает:

Если мир в нас стрелу пускает –

Рушась, гора дрожит.

Когда судьба из лука стреляет,
Гора ей грудь свою подставляет:
Не спрятаться, коль стрелу направляет
Владычица бед и обид.

Беки коней своих загнали,
Лица, шафрановые от печали,
Подняли горько к небесной дали,
Где Предвечный всё о нас зрит.

Мужи от горя завывают,
Одежды на себе разрывают,
Как в песне, их голоса зывают,
Взлетая от каменных плит.

(Перевод В. Шаповалова)

Т. Ибраимов воплощает генетическую и историко-культурную память народа в повести «Плакальщица», ставшей своеобразной песней-плачем по драматической судьбе кыргызского народа в драматическом XX веке. Национальная жизнь раскрывается посредством изображения перипетий личностных судеб в оковах социально-политических катаклизмов – всё это создаёт широкую, а, главное, глубоко осмысленную панораму исторического пути народа, лейтмотивом которого звучит плач по несбывшимся надеждам, по невозвратным потерям, опустошённой душе:

Дыхание коней, как белый туман,
Глаз луны закрыло.
Слёзы мои, как чёрный туман,
Глаз солнца закрыло.
Горе моё тяжелее земли,
Не знаю – скрыться куда?
Горе моё лютее зимы –
Убита, растоптана душа...

Безусловно, в этой повести проявились элементы романного мышления писателя. Может быть, Т. Ибраимов замахнётся на

большие формы? Нам кажется, что это ему по плечу. Дерзните, Байке! У вас всё получится!

«Запах Джиды» – запах Родины – неизбежен в душе, где бы ты ни находился, чем бы ни занимался. «Сары-Булак» – отчий дом писателя в центре повестей «Запах Джиды» и «Женитьба Фигаро». Глубоко национальная основа жизни, патриотический пафос произведения строится на основании народной смеховой культуры. С тонким юмором и ироничным прищуром писатель изображает драматические страницы истории нашего народа, представители которого в поисках лучшей судьбы вынуждены бороздить просторы мира и издалёка ностальгически вспоминать запах Джиды – вкус Родины.

«Сары-Булак» в моей памяти – это сад бабушки, вкус красных апортов – символов красоты рукотворной природы и человеческого трудолюбия. «Сары-Булак» под пером Талипа Ибраимова становится метафорой Кыргызстана, переживающего нелёгкие времена. Однако пока жива историческая память, горит свеча в отчем доме и рождаются дети, есть надежда, а кризис – это лишь «пауза для вдоха» перед обновлённой жизнью.

Сборник «Простите меня» свидетельствует о многосторонности художественного дарования Талипа Ибраимова. Суровое и правдивое изображение социально-политической жизни, драматической истории народа и личностных судеб, психологии современников находят адекватные стиливые формы. Художественная речь писателя максимально приближена к реальности, в ней нет ханжества и приукрашивания, и вместе с тем она удивительно поэтична и метафорична. Для прозы Т. Ибраимова характерен сложный синтез эпичности повествования, драматичности изображения человеческих судеб и лиричности авторского мироощущения.

И самое главное – в центре художественного мира, созданного Т. Ибраимовым, – Человек – «маленький Человек», порой чудаковатый бечара, но с безграничной душой, грешный и страдающий, раскаивающийся и творящий жизнь. Может это связано с тем, что это проза свободного человека, знающего цену жизни и людям, прощающего грехи людские и «милость к падшим призывающего», снимающего маски и не лгущего в главном. Это портрет жизни писателя, имеющегося мужество сказать: «Простите меня».

Коротко об авторах

Дмитрий АЩЕУЛОВ

Родился в городе Фрунзе, окончил Бишкекский архитектурно-строительный колледж. С 1998 года печатается в журнале «Литературный Кыргызстан». В 1999 году стал лауреатом республиканского литературного конкурса «Наследники пушкинского пера». В 2010 году вышел сборник его рассказов «Бальтазар Неверро». Работает в республиканской газете «Слово Кыргызстана».

Алтынай ДЖУМАНАЗАРОВА

Поэт. Один из основоположников литературного сообщества «Ковчег».

В 2005 году стала лауреатом Международного фестиваля «Благовест» в номинации «Поэзия». В 2009 году получила литературную премию Международного фонда Айтматова в номинации «Поэзия». В 2010 году заняла первое место в номинации «Поэзия» в конкурсе поэтов и поэтов-переводчиков.

Публикации: «Дружба народов», «Литературный Кыргызстан», «Небоскреб», Большая стихирская энциклопедия (www.stihi.ru), Новая литература Кыргызстана (www.literatura.kg).

Основатель и главный редактор информационного интернет-агентства K-News (www.knews.kg).

Александр ЗАЙЦЕВ

Родился в 1935 году в городе Кызыл-Кия Ошской области Кыргызстана. В 1951 году окончил ремесленное училище в Ворошиловграде, а в 1977 году – заочное отделение московского Литературного института имени Горького. Работал слесарем-наладчиком, слесарем-сборщиком на заводе Сельскохозяйственного машиностроения им. Фрунзе, а затем – редактором заводской газеты «Сельмашовец». Печататься начал с 1960 года. Известен в республике и за ее пределами как поэт-лирик и как детский писатель. Автор двадцати поэтических сборников. Член Союза писателей России. Последние несколько лет живет в Санкт-Петербурге.

Александр ИВАНОВ

Родился в Казахстане, в г. Чимкенте в 1938 году. Окончил Киргизский Государственный Университет, филфак. Работал в молодежных газетах Кыргызстана и Таджикистана, редактором Гостелерадио Кыргызской Республики, зав. сектором печати ЦК КПСС КР. С 1984 года – главный редактор журнала «Литературный Кыргызстан». Автор пятнадцати книг. Заслуженный деятель культуры КР.

Талип И БРАИМОВ

Родился в 1940 году в с. Сары-Булак. Окончил Киргосуниверситет, а затем Московские Высшие курсы сценаристов и режиссеров. Работал редактором на киностудии «Киргизфильм», а в настоящее время преподает в Кыргызско-турецком университете «Манас». Автор трех сборников повестей и рассказов. Лауреат «Русской премии» за 2007 год.

Виктор КАДЫРОВ

Кадыров Виктор Вагапович – родился в 1955 году в городе Бишкеке (Фрунзе). Окончил Политехнический институт, специальность – инженер-электрик. С 1992 года работает в книжном деле. Им создана книготорговая сеть «Раритет». С 1988 года возглавляет издательство «Раритет». Кадыровым подготовлено и издано более 60 книг по природе, истории и этнографии Кыргызстана. С 2003 года издательство выпускает сборники сказок и сказочные повести, написанные Кадыровым на основе киргизских народных эпосов. Им также изданы три прозаических сборника – «Коровы пустыни», «Золото Иссык-Куля» и «В поисках дракона».

Евгений КОЛЕСНИКОВ

Родился в 1935 году в Алтайской глубинке. Окончил филологический факультет Киргосуниверситета. Работал редактором издательства «Кыргызстан», заведующим отделом прозы, консультантом Союза писателей Кыргызстана, а затем – Международного сообщества писательских союзов в Москве. Автор более десятка книг художественной прозы и поэзии, изданных как в Кыргызстане, так и за рубежом.

Бахтияр КОЙЧУЕВ

Койчуев Бахтияр родился в 1963 году в Бишкеке. Кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой истории и теории литературы Кыргызско-Российского Славянского университета, опубликовал более 60 литературно-критических и научных работ по истории и теории мировой литературы, в том числе – о творчестве русскоязычных писателей Кыргызстана.

Александр КРЯЧУН

Родился в 1951 году в селе Ленин-Джол (ныне село Ноокен) Джалал-Абадской области. Там же в 1968 году окончил 10 классов. Служил в армии, в ракетных войсках. В 1974 году окончил Фрунзенский политехнический техникум. С 1974 по 2002 год работал в топографо-геодезических экспедициях по Средней Азии. Как самодеятельный художник неоднократно выставлял свои картины на выставках Бишкека.

Выпустил книгу прозы. Живет и работает в Санкт-Петербурге. Ежегодно приезжает в Кыргызстан. Неоднократно публиковался в «ЛК».

Игорь ЛУКШТ

Родился в 1950 году в г. Баку, закончил СШ №3 г. Фрунзе в 1967 году, Московский авиационный институт – в 1973, Московское высшее художественно-промышленное училище им. С.Г.Строганова (мастерская скульптуры) – в 1985 году. Скульптор, член Московского и Российского союзов художников, профессор кафедры академического рисунка Строгановской художественно-промышленной академии и школы-студии МХАТ.

Публикует стихи на “Поэзия.ру”, “Стихи.ру”, “Рифма.ру”, “Литконкурс.ру”, “45-я параллель” и др. Лауреат международных конкурсов: “Поэзия 2006”, “Вся королевская рать” (2006, 2007, 2009), “Серебро слова – 2006”, “Серебряный стрелец” (2009, 2010), поэтических конкурсов им. Петра Вегина (2009) и Льва Лосева (2010), финалист Волошинского международного конкурса (2005, 2006, 2008).

Компьютерная верстка и дизайн Светланы Терезуловой

Подписано в печать 15.10.2011 г. Формат 84x108 1/32.

Бумага офсетная. Гарнитура Arial.

Усл. печ. л. 10,62 Заказ 62.